

ISSN 0869—544X

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  
НАУК



# СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

**5**  
**1992**



• НАУКА •

# СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД  
СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

5

1992

ЖУРНАЛ  
ОСНОВАН  
В ЯНВАРЕ

1965 г.

МОСКВА

«НАУКА»

## СОДЕРЖАНИЕ

### СТАТЬИ

- Топоров В. Н.* О «Бедной Лизе» Карамзина (К двухсотлетию со дня выхода в свет) . . . . . 3
- Мананчикова Н. П.* Купеческий капитал и товарное производство в Дубровнике XIV в. . . . . 36
- Коровицына Н. В.* Реиндустриализация, или чешское общество «на пути к социализму» . . . . . 48
- Аникийев А. С.* Югославия в европейской политике великих держав в годы холодной войны (конец 40-х — начало 50-х годов) . . . . . 60

### СООБЩЕНИЯ

- Сегал Д.* Slavica Hierosolymitana, или размышления об израильской славистике . . . . . 80
- Решетникова О. Н.* Ф. Ф. Раскольников глазами болгарской полиции . . . . . 87
- . . . . .

### МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНИКУ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

- Седакова О. А.* Церковнославянско-русские паронимы . . . . . 95

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Бибиков М. В., Петрухин Б. Я.</i> Свод древнейших письменных известий о славянах . . . . .	112
<i>Попков Б. С. З. В. Намавичюс.</i> Лелевель . . . . .	119
<i>Конаков Н. К. Э. Г.</i> Задоржнюк. Городское мелкое производство в Центральной и Восточной Европе: поиски оптимальной модели, 1940—1980-е годы . . . . .	121

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Мельников Г. П.</i> XI конференция из цикла «Славяне и их соседи» . . . . .	123
--	-----

\* \* \*

<i>Лаптева Л. П.</i> Академик Иозеф Мацек (8 IV 1922 — 10 XII 1991) . . . . .	125
<i>Калиганов И. И.</i> Академик Петр Динеков (1910—1992) . . . . .	126

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. ПОП (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА,  
А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ, М. С. КАШУБА, М. Н. КУЗЬМИН,  
Г. Ф. МАТВЕЕВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, А. Ф. НОСКОВА,  
Л. А. СОФРОНОВА (зам. главного редактора), Б. Н. ФЛОРЯ, Т. В. ЦИВЬЯН  
(зам. главного редактора), М. А. ВАСИЛЬЕВ (отв. секретарь)

Зав. редакцией *И. И. Бизяева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л. А., Веслова И. Ю.,  
Кошкина Е. А., Мочалова В. В., Осипова М. А.,  
Скворцова Н. М.*



## О «БЕДНОЙ ЛИЗЕ» КАРАМЗИНА (К двухсотлетию со дня выхода в свет)

В 1792 г. в июньском номере (часть VI) «Московского журнала» появились два сочинения, успех которых у читателей для XVIII в. был исключительным, — «Сизый голубочек» Дмитриева, «котораго пели во всей России» (а в провинции продолжали кое-где петь и переписывать в альбомы даже после революции) и «Бедная Лиза», которая, по словам биографа Карамзина, «владела сердцами русских читателей пятнадцать лет без соперницы, и только в 1808 г. она разделила свою славу с *Марьиной рощей* и потом *Людмилой*, первой балладой Жуковского, еще лет на 20!» [1]. Действительно, в течение без малого сорока лет, до появления рассказов и повестей Пушкина и Гоголя, «Бедная Лиза» оставалась наиболее совершенным и представительным образцом русской художественной прозы<sup>1</sup>, по крайней мере с точки зрения истории литературы (обращение к типологии рецепции художественной литературы в разных слоях читателей продлило бы «частичное» первенство «Бедной Лизы», пожалуй, еще на два-три десятилетия).

За это свое бывшее увлечение «Бедной Лизой», за истинную любовь, за сердечные переживания и восторги, с нею связанные, потом, более чем столетие, читатель, если уж только он не был слишком доверчив, простодушен и чист сердцем, будет платить «Бедной Лизе» и через нее ее «сентиментальному», «слащавому», «претенциозно-жеманному» и т. п. автору (все эти эпитеты отмечены в отнесении к Карамзину реально) забвением и даже не только им, но — хуже — равнодушием и — еще хуже — чувством, рождаемым сознанием своего бесспорного превосходства, позволяющего преодолеть стыд за прежнюю привязанность, свою несамодостаточность, эстетический *faux pas* и понуждающего к разным способам отчуждения «Бедной Лизы» и ее автора от себя — к иронии, к упражнениям в остроумии и пародировании, не без примеси насмешки,

<sup>1</sup>Топоров Владимир Николаевич — академик РАН.

<sup>1</sup>Этому утверждению, конечно, не противоречит то обстоятельство, что за этот период в русской прозе складывались некоторые новые существенные явления, расширявшие ее художественное пространство и возможности за пределы, обозначенные в «Бедной Лизе». Следует ввести еще одно ограничение: речь идет о «сюжетной» прозе, и, следовательно, «Письма русского путешественника» (как и «Путешествие из Петербурга в Москву») или «История государства Российского» в этот ряд не входят.

а иногда и издевательства, к сатирическому осмеянию-развенчанию, к некоей высокомерной брезгливости. Примеров сказанному слишком много, и они слишком хорошо известны<sup>2</sup>, чтобы их перечислять — тем более, что настоящий случай — плохой повод для обращения к столь неблагоприятному материалу. И все-таки примеры этого рода поучительны, поскольку они свидетельствуют об определенных изъянах нравственного характера, об ущербности в самом типе культурно-социального поведения, о недостаточной принципиальности и независимости нашего литературоведения, столь падкого на соблазны со стороны. Сейчас для многих ясно то, что понимали и знали раньше немногие: Карамзин наш испытатель в тонкостях вкуса, в открытости сердца, в широте разума и — более того — в нашей гражданственности и нравственной зрелости. Но слишком многие из нас (говоря в целом) оказались недостойными этого испытания, тех залогов, которые были нам даны. И в этом наша вина перед Карамзиным. И даже сейчас, когда положение быстро меняется и Карамзин издается, интерес к нему, опережая подлинное знакомство с ним, быстро возрастает, писатель принимается целиком, без изъятия «неудобного» (отчасти даже загодя, исходя из столь же субъективных идеологизированных установок, которые отличаются от подобных же прежних, служивших «отрицательным» целям, только знаком)<sup>3</sup>, эмоции «приятя» усиливаются, иногда приближаясь к эйфорическому уровню, — все-таки остаются в силе слова исследователя, наиболее пронизательно и глубоко понявшего суть феномена карамзинской прозы, Б. М. Эйхенбаума, впервые высказанные им в газетной заметке из «Биржевых ведомостей» (1916 г., 2 декабря, утренний выпуск): «И можно прямо сказать, что мы еще не вчитались в Карамзина, потому что неправильно читали. Искали буквы, а не духа. А дух реет в нем, потому что он, „платя дань веку, творил и для вечности“» (см. [3, с. 213]; ср. [4] (цитата внутри — из «Писем русского путешественника»)).

Задача вчитывания, правильного прочтения Карамзина и определения того духа, который веет в его произведениях и составляет их существо, и сейчас стоит как перед исследователями, так и перед читателями. Лишь на этом пути можно преодолеть инерцию недооценки карамзинской прозы, усугубляемой последствиями инерции времени, все более и далее относящей нас от *того* времени, в котором писатель совершал свое дело, и в отнесении к которому тот же и можно судить о сделанном им. Поэтому адекватная оценка Карамзина, в этом случае его прозы, возможна лишь при в о с с т а н о в л е н и и «портрета» времени Карамзина, контрастного как к времени, ему предшествующему, так и к времени, ему наследующему, — при том, что сама эта «контрастность» не ограничивается борением с первым и

<sup>2</sup> Весьма показательны в этом отношении то раздражение, переходящее иной раз в бесование, которое нередко вызывал Карамзин даже (и, может быть, прежде всего) у исследователей, принадлежащих к «культурно-демократической» части спектра: ему не прощали того, что охотно не замечалось у писателей противоположной части спектра. Конечно, Карамзин был особенно подходящим поводом, чтобы засвидетельствовать «принципиальность» своей позиции, но, разумеется, эта первоначально «чужая» позиция нередко становилась второй натурой.

<sup>3</sup> Ср.: «Чтобы читать сегодня повести Карамзина, надо запастись эстетическим цинизмом, позволяющим наслаждаться старомодным простодушием текста. Тем не менее, одна из повестей — „Бедная Лиза“, благо там всего семнадцать страниц и все про любовь — все же живет в сознании современного читателя»; «Результаты этого незатейливого опыта были грандиозными. Рассказывая sentimentalную и слащавую историю бедной Лизы, Карамзин — попутно — открыл прозу»; «Итак, Карамзин „Бедной Лизой“ угодил читателю. Русская литература захотела увидеть в этой маленькой повести прообраз своего светлого будущего — и увидела. Она нашла в „Бедной Лизе“ беглый конспект своих тем и героев. Там было все, что ее занимало и занимает до сих пор»; «Впрочем, всеобщее оживление интереса к Карамзину, может быть, свидетельство того, что очередной виток культурной спирали инстинктивно отрицает уже приевшуюся поэзию мужественного умолчания, предпочитая ей карамзинскую откровенность чувств» и т. п. (см. [2]).

уступанием второму, но составляет суть и внутреннее содержание времени, находящегося между смежными с ним «временами»: борение идет с тем, что находится внутри как наследие предыдущего периода и нуждается в изживании, и уступание также совершается внутри, но оно осознается как таковое лишь в свете последующего временного отрезка, проясняющего залогов предшествующего ему этапа развития. В этом смысле само членение времени выступает как своего рода пост-редактирование, поздняя коррекция со стороны воспринимающего и интерпретирующего этот временной ряд сознания, и поэтому ни один «член» времени не может претендовать на самостоятельность и нуждается в зеркале, всегда деформирующем («кривом») смежных «членов» времени, а значит, и сама контрастность должна пониматься как отталкивание-борьба, но на общем, «согласном» субстрате, как некая напряженная драма единого и разного, тождества и различия, связи и ее разрыва, как такая «метаморфическая» цепь зависимостей, в которой причина всегда и следствие, а следствие всегда и причина при том, что конкретная идентификация их не только возможна лишь при временных сдвигах, но и является функцией самого времени, себя самознающего<sup>4</sup> через анализ исследователя или рецепцию читателя.

Разумеется, восстановление «портрета» времени — совершенно особая и достаточно сложная задача, которая здесь рассмотрена быть не может, но все-таки она должна быть названа и обозначена. С именем Карамзина в русской культуре связаны фундаментальные завоевания — «историзм» и «субъективизм».

Субъективизм, если говорить вкратце и в общем, предполагает не просто перенос внимания («акцента») с внешнего и «объективного» на внутреннее и «субъективное», на жизнь души во всей ее глубине и индивидуальности, но и формирование конструкции, по-новому объясняющей суть «объективно-субъективных» связей, органическую имманентную зависимость ее составляющих частей. Субъективность, субъектом осознанная (то, что несколько позже, в «Системе трансцендентального идеализма» (1800), Шеллинг назовет «самообъективацией субъективного»), конституирует в себе аспект объективности, подобно тому, как последняя оказывается неотделимой от субъекта восприятия и в известных границах выступает как портрет воспринимающего сознания. «/.../ Карамзин усвоил одно, очень важное, — что нет и не может быть познания души вне мира предметов и явлений и что, с другой стороны, самый этот мир познается только как зеркало души. /.../ Отсюда — слияние души с природой как единственно возможное отношение между миром и человеком», — писал Эйхенбаум [3, с. 206]. В этом контексте субъективность очевиднее и острее всего выражает себя в связи с проблемой самопознания, и именно на этих путях Карамзин обращается к Лафатеру с «последним», долженствующим все решить вопросом, чтобы услышать в ответ обескураживающее «Lieber Herr Karamsin - davon versteh ich nichts» [6]. Впрочем, Карамзин умел извлекать уроки из

<sup>4</sup> Такое понимание времени отвечает и интуициям Карамзина, иногда фиксируемым в его текстах. Ср.: «Время есть не что иное, как следование наших мыслей» (разрядка здесь и далее наша. — В. Т.) (см. [5, с. 196, 199]). Собственно, речь идет о потоке мыслей, сознания как функции времени или о времени как объекте, генерируемом потоком сознания, что в более глубокой перспективе обозначает одно и то же. Это соотношение времени и сознания фундаментальнее диатезы реального и иллюзорного: оно сохраняется и в том состоянии, когда «весь свет» кажется «беспорядочною игрою китайских теней» («Моя исповедь») и торжествует «чистый идеализм моей философии» (письмо к И. И. Дмитриеву от 1 апреля 1820 г.). «В бытии Карамзин видел не предметы сами по себе, не материальность, не природу, но созерцающую их душу /.../ Слово /.../ обращается /.../ не столько к зрению вещей, сколько к созерцанию отраженной в них души» [3, с. 212], а потому для Карамзина время не только помещается в антропологическую перспективу, но, более того, оно «психично», лично, личностно, и, значит, «портрет» времени отсылает к «портрету» души.

всего, и его открытость, чувствительность, даже энтузиастичность и восторженность умело контролировались его трезвостью, холодностью ума, способностью к самоограничению и к принятию жестких решений. Открытие субъективности как особой категории мировосприятия и инструмента творчества не только удивительным образом расширило творческое пространство, но и поставило вполне определенные границы «возможному» в этом пространстве. Поэтому неудача с Лафатером была лишь относительной: она толкала русского писателя к выводам, которые пока, хотя и совсем неясно, рисовались и его воображению. Встреча с Кантом еще более утверждала его в необходимости отсеять соблазны максимализма. «И недаром из разговора с Кантом, как ни трудна его метафизика, Карамзин понял одно — что для человеческого знания есть предел, за которым „первый мудрец признается в своем невежестве. Здесь разум погашает свечильник свой, и мы во тьме остаемся; одна фантазия может носиться во тьме сей и творить несобывшее“ / . . . /» [3, с. 207] (внутри — цитата из «Писем русского путешественника»). Но и это ограничение не должно трактоваться как неизбежная неудача или только как неудача: дело в самой природе человеческого познания и в смертности человека. «Деятельность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым и стремится всегда к приобретениям. Смерть застаёт нас на пути к чему-нибудь, что мы еще иметь хотим. Дай человеку всё, чего желает, но он в ту же минуту почувствует, что это всё не есть всё», — передает Карамзин в «Письмах русского путешественника» сказанное ему Кантом при их встрече. Этот всегда присутствующий неизвестный остаток, мешающий достичь человеку подлинного и окончательного всё, может быть воображен только в вымысле, в фантазии, в художественном творчестве, снимающем абсолютность противопоставления вымысла и действительности, «поэзии» и «правды», фикции и факта<sup>5</sup>, о чем также писал Шеллинг. Подключаясь к подобной игре форм и смыслов, можно было бы сказать, что «субъективность» объективно приводит к сфере «художественного», к «поэтическому», к «фикции», не только не отменяя «действительного», «правды», «факта», но, напротив, придавая им особый вес и особую цену. Среди всех многочисленных «первенств» Карамзина нужно отметить и это: в русской культуре он был первым, кто осознал связь субъективности с началом «художественного» и сделал из этого практические выводы в отношении как художественной литературы, так и истории<sup>6</sup>.

«Историзм», усвоенный Карамзиным русскому культурному сознанию и понимаемый им достаточно широко и глубоко (по крайней мере в его интуициях), состоял прежде всего в осознании особого статуса времени: оно не просто рамки или фон совершающегося «исторического», но само существо и качество его, содержание этого «исторического», его осевой

<sup>5</sup> Ср. обозначения художественной литературы типа англ. *fiction*, букв. 'вымысел', 'выдумка', 'фикция' и примеры *figurae etymologicae* на тему *fact and fiction (to distinguish fact from fiction, fact is stranger than fiction* и т. п.), где игра строится на контрасте подобия формы (консонантный остов *f-ct-*) и противоположности смысла (действительное и недействительное, вымышленное), ср. лат. *factum (facere): fictum, fictio (fingere)*.

<sup>6</sup> О причинах этого сопряжения «художественного» и «исторического» писал Эйхенбаум: «В полном соответствии с этим разочарованием в теоретической философии творчество Карамзина направляется в другие, уже намеченные стороны — в область нравственной философии, то есть кантовского „практического разума“, и в область фантазии как свободно-творческой деятельности человека. Гносеологические размышления не прекращаются, но уже нет стремления к „метафизике природы“ — ее место заступает „метафизика нравов“, антропология в кантовском смысле, где человек рассматривается и интимно, как „темперамент“, как стремящееся к личному счастью существо, и общественно, как исторический деятель. Так, кажется мне, можно понять соединение „любовных повестей“ Карамзина с его „Историей государства Российского“» [3, с. 207].

смысл, который никогда не дается эксплицитно и безостаточно, но требует открытая (реконструкции-«прорыва» сквозь завесу феноменального к подлинно-историческим ноуменам). Но это открытие возможно только как со-трудничество, как совокупное творение двух данностей — «фактов», исторической эмпирии, доставляемой источниками, с одной стороны, и, с другой, «фикции», воображения, творческой интуиции, которая возникает при личном и личностном переживании времени и в соответствии с которой организуется эмпирический материал. Такая организация как всякая индивидуация и генерализация достаточно обширного материала предполагает отбор «фактов», составляющих данную историческую парадигму, и их проекцию на ось последовательности («исторический» текст), т. е. то, что делается творцом художественного («поэтического») текста. В этом смысле история, действительно, близка поэзии, на что обращал внимание уже Аристотель, а историк «операционно» во многом сродни поэту, и такими были все великие историки от Геродота до Тойнби, равнодушные к проблеме композиции исторического описания и к его языку, т. е. к тому, как (проблема отбора и выбора) должно быть выражено «историческое» содержание, чтобы был наиболее адекватно раскрыт подлинный, наиболее напряженно-интенсивный смысл описываемого, который «факты» могут не только прояснять, подкреплять, доказывать, но и, к сожалению, затемнять, уводить в сторону от него, искажать. Искусство историка не только в том, чтобы увидеть смысл совершающегося (стоит напомнить, что др.-греч. *ἱστορία* первоначально обозначало расспрашивание, осведомление, и такой способ познания, в *έδενια*, в основе которого лежит *ιδενηε*, ср. и.-евр. *\*ueid-: \*uoid-: \*uid-* 'ведать-видеть'), но и построить такой текст, который представлял бы собой изложение «увиденного» и содержал бы мотивационную структуру, надежно объясняющую смысл этого «увиденного». Эта ситуация в общем виде раскрывает импульсы к некоему «тонкому» соответствию между градусом «исторического» и градусом «художественно-литературного», «поэтического», хотя сама экспликация подобного соответствия связана в конкретных случаях с значительными сложностями, если только не говорить об общем духе или совмещении в одном лице двух функций — родоначальника историографической традиции («отец истории») и основоположника прозы (естественно определенного ее типа в определенный период ее развития). Таким первым «совместителем» был Геродот. Таков и случай Карамзина в русской культуре — «Бедная Лиза» как первая «внутренне историческая» художественная проза и «История государства Российского» как первый русский художественно-исторический текст. Чтобы понять взаимосвязь «исторического» и «художественного», уместно обратиться к тому, что пишет Карамзин в предисловии к «Истории»:

«Обращаюсь к труду моему. Не позволяя себе никакого изобретения, я искал выражений в уме своем, а мыслей единственно в памятниках; искал духа и жизни в тлеющих хартиях; желал преданное нам веками соединить в систему, ясную стройным сближением частей; / . . . / хотел представить и характер времени и характер Летописцев: ибо одно казалось мне нужным для другого. Чем менее находил я известий, тем более дорожил и пользовался находимым; тем менее выбирал: ибо не бедные, а богатые и з б и р а ю т. / . . . / Прилежно *истоция* материалы древнейшей Российской Истории, я ободрял себя мыслью, что в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения: там источники Поэзии! Взор наш, в созерцании великого пространства, не стремится ли обыкновенно — мимо всего близкого, ясного — к концу горизонта, где густеют, меркнут тени и начинается непроницаемость?»



Читатель заметит, что описываю деяния не врознь, по годам и дням, но *совокупляю* их для удобнейшего впечатления в памяти. Историк не Летописец: последний смотрит единственно на время, а первый на свойство и связь деяний: может ошибиться в распределении мест, но должен всему указать свое место»<sup>7</sup> [7, т. I, с. 20].

Уже ранее было обращено внимание на положительно-приемлющую эмоцию Карамзина к «временам отдаленным» (ср. «неизъяснимую прелесть» их для него), отличную от отношения к «всему близкому, ясному», и на то, что это предпочтение образует сознательный эстетический принцип, который сам по себе служит оправданием указанной эмоции. В известной степени эти особенности предопределены тем эстетическим опытом (как и психологическими наблюдениями и философскими размышлениями), который предшествовал историческим занятиям Карамзина и непосредственно привел к ним. Однако это эмоционально-эстетическое начало, реализовавшее себя в его «Истории» как «художественность», не только ограничивало полноту «историзма», но открыло для него новые, ранее непредвиденные пространства, не нарушив «строгости» исторического описания. Нельзя считать случайным, что ряд исследователей в XX в. не только высоко оценивали «корректность» Карамзина в ситуации «зазора» между наличными фактами, но иногда ставили ее даже выше, чем соответствующее качество у таких историков, как С. М. Соловьев или В. О. Ключевский (ср. мысли С. Ф. Платонова). При этом под «корректностью» понималась не столько правильность предлагаемого решения (мотивации, реконструкции неизвестных звеньев и т. п.) или верность догадок, сколько воздержание от «необратимых» заключений: такт Карамзина-историка чаще всего позволял ему не преступать последнюю грань и сохранять нужное соотношение определенности-неопределенности, в чем также следует видеть проявление не только исторической, но и художественной интуиции.

Все эти соображения о «художественности» карамзинских исторических текстов получают дополнительную силу при учете «историчности» его художественно-литературных текстов, вовлеченных в силовое поле историзма. Речь идет, конечно, не столько об исторических темах или *couleur historique* (как в «Марфе-посаднице, или Покорении Новгорода» (ср. подзаголовок — *Историческая повесть*) или в «Наталье, боярской дочери») и даже не о чертах летописного стиля в «Истории» Карамзина (а отчасти и в «Марфе-посаднице») (ср. [8])<sup>8</sup>, сколько об историчности как органическом

<sup>7</sup> Существенные уточнения — в том же «Предисловии», где автор рассуждает о трех родах истории, в частности, о праве древних историков «вымышлять речи согласно с характером людей, с обстоятельствами» («право неочтенное для истинных дарований»), и формирует свою позицию: «Но мы, вопреки мнению Аббата Мабли, не можем ныне витийствовать в Истории. Новые успехи разума дали нам яснейшее понятие о свойстве и цели ее; здравый вкус устоял неизменные правила и навсегда отлучил Деписания от Поэмы, от цветников красноречия, оставив в удел первому быть верным зеркалом минувшего / . . ./. Как Естественная, так и Гражданская История не терпит вымыслов, изображения, что есть или было, а не что быть могло. / . . ./. Что ж остается ему (историку. — В. Т.), прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? порядок, ясность, сила, живопись. Он творит из данного вещества: не произведет золота из меди, но должен очистить и медь; должен знать всего цену и свойство / . . ./. Нет предмета столь бедного, чтобы Искусство уже не могло в нем ознаменовать себя приятным для ума образом. / . . ./. Чувство: мы, наше, оживляет повествование — и как грубое пристрастие, следствие ума слабого или души слабой, несносно в Историке: так любовь к отечеству дает его кисти жар, силу, прелесть. Где нет любви, нет души» [7, т. I, с. 18—19].

<sup>8</sup> Пушкин увидел в «Истории» Карамзина отражение самого духа летописи и назвал ее автора «последним летописцем» (ср. [9]), что, однако, является невольным занижением роли Карамзина. Однако в данном случае важнее другое: наследование Пушкиным духа историзма, явленного Шекспиром, а у нас Карамзиным, и дальнейшее развитие его («Борис Годунов» и др.). «Нравственные его размышления своею иноческою простотою дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи», — писал Пушкин о Карамзине и его «Истории», и эта «неизъяснимая прелесть», собственно, цитата из «Предисловия» Карамзина к его труду, уже ранее приведенная. В споре с Н. Полевым в связи с его «Историей русского народа»

(почти «химическом») начале его художественной прозы, которое может пребывать в ней и в латентном состоянии, определяя в ней тем не менее все основное и прежде всего историческую подлинность, верность духу истории самого «описывающего» сознания, субъекта описания. В этом случае историзм сознания обнаруживает себя в исторической подлинности языка, стиля, нравственных оценок, содержащихся в соответствующих апофегах, в самом сдвиге по сравнению с предшествующей и современной ему литературой, который в этом случае выступает как некий индекс, сигнализирующий очередной шаг в разворачивании этого «исторического» начала.

Ниже вниманию читателя предлагается одна из глав более обширного исследования, посвященного «Бедной Лизе» (далее — БЛ).

### ПЛАН «ИСТОРИЧЕСКОГО». ПЕЙЗАЖ (ГЛАВА III)

Объединение этих двух разных, более того, казалось бы, противоположных планов отнюдь не случайно. Их связь и даже их глубинное, обычно не осознаваемое, сродство были открыты тоже Карамзиным. Но «историческое» и «пейзажное» еще и дополняют друг друга до некоего единого целого: «историческое» завязано вокруг и з м е н я ю щ е г о с я времени, «пейзажное» — вокруг с т о й ч и в о - н е и з м е н н о г о пространства. Высоко цена «историческую» и «пейзажную» микроскопию, имея вкус к конкретности, четкости и ясности, умея и любя рассматривать каждую деталь изблизи, Карамзин все-таки предпочитал дальновидение, глубокую перспективу, широкий горизонт, где ясность ближних планов растворяется в неопределенности, оповещающей о том пределе, за которым начинается непроницаемость<sup>9</sup>.

Еще раз стоит напомнить: пища свою «Историю», Карамзин «ободрял себя мыслию, что в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения: там источники поэзии! Взор наш, в созерцании великого пространства, не стремится ли обыкновенно — мимо всего близкого, ясного — к концу горизонта, где густеют, меркнут тени и начинается непроницаемость?» [5, с. 119]. Легко заметить, что, говоря об истории, о толще «исторического» времени, в которую вглядывается историк, Карамзин пользуется «пространственным» кодом, отчего «историческая» привязка сказанного в этой цитате естественна лишь при метафорическом подходе к языковой образности этого отрывка, но она в прямом (непереносном) смысле описывает ситуацию человека, созерцающего широкое пространство, перед ним открывающееся, некий совокупный ландшафт. Сродство «культурно-исторического» и «природно-пейзажного» определяется не только связью времени и пространства и способом их познания (взгляд — в первом случае фигурально, во втором — в прямом смысле), но и эмоциями познающего эти сферы. Эти эмоции «положительно-приемлющего» характера свидетельствуют о том, что в процессе обращения к истории и к

Пушкин отстаивал карамзинскую линию. Еще важнее, что он выступал против жесткого детерминизма в исторических описаниях, характеризовавшего концепцию Гизо (ср. формулу «иначе нельзя было быть»), допуская роль случайного, что соотносимо и с позицией Карамзина, отказывавшегося от выбора жесткого решения в ситуациях возрастающей энтропии.

<sup>9</sup> Удаленность воспринимающего субъекта при рассмотрении и истории и пейзажа важна, в частности, потому, что она снимает «возмущающий» эффект, связанный с вовлеченностью человека в злобу дня, в слишком близкое и насущное, и обеспечивает ту успокоенность и тишину, которые сохраняют ненарушаемость полного и правильного восприятия. «История, скромная и торжественная, любит тишину страстей и могил, удаленность и сумерки, а из всех времен грамматики ей более всего приличествует *давно прошедшее*, — писал Карамзин великой княгине Екатерине Павловне в 1815 г. — Быстрое движение и шум настоящего, близость предметов и их слишком ослепительный свет смущают ее» [5, с. 119]. То же с известным основанием может быть сказано не только о «созерцании времени» (история), но и о «созерцании пространства» (пейзаж) — с одним изменением: вместо «давно прошедшее» следует читать «далеко отстоящее».

природе человек удовлетворяет свои общие потребности — познавательные, эстетические («неизъяснимая прелесть», «источники поэзии»), нравственные<sup>10</sup>.

Не случайно, что Карамзин не был певцом дикой природы или даже природы вообще. Она всегда воспринималась им в связи с человеком, его деятельностью на ниве культуры. Для него природа и культура, как правило, включены в единые рамки: говоря об исторических достопримечательностях, Карамзин не только не упускает возможности сказать о природном их контексте, в который они включены, но и видит в этом особый смысл; описывая природу, он не забывает сказать о человеке и деле его рук — от зámка или монастыря до крестьянской хижины. Но это сосуществование природы и культуры мыслится Карамзиным как равноправное, при котором ни одна из сторон не ущемляет прав другой, и природе сильно «окультуренной» он предпочитает «природу природную».

Отмечая положительно формирование у русских чувства природы, Карамзин в «Записках старого Московского жителя» писал: «Одним словом, Русские уже чувствуют красоту Природы; умеют даже укрощать ее. объезжайте Подмосковные: сколько прекрасных домиков, Английских садов, сельских заведений, достойных любопытного взора просвещенных иностранцев! Например, село Архангельское, в 18 верстах от Москвы, вкусом и великолепием садов своих может удивить самого Британского Лорда; щастливое, редкое местоположение еще възвышает красоту их. Рощи — где дикость Природы соединяется с удобствами Искусства, и всякая дорожка ведет к чему-нибудь приятному: или к хорошему виду, или к обширному лугу, или к живописной даче — наконец, заступают у нас место так называемых *правильных садов*, которые ни на что не похожи в Натуре и совсем не действуют на воображение. Скоро без сомнения перестанем рыть пруды, в уверении, что самой маленькой ручеек своим быстрым течением и журчанием обнаружит сельские красоты гораздо более, нежели сии *мутные зеркала*, где гниет вода неподвижная...». И несколько далее, после того, как была затронута тема «Московского булеvara» и потребности к народным гульбищам, Карамзин продолжает: «Иногда думаю, где быть у нас гульбищу, достойному столицы — и не нахожу ничего лучше берега Москвы-реки между каменным и деревянным мостом, есть ли бы можно было сломать там Кремлевскую стену, гору к Соборам устлать дерном, разбросать по ней кусточки и цветники, сделать уступы и крыльцы для восхода, соединить таким образом Кремль с набережною, и внизу насадить аллею. Тогда, смею сказать, Московское гульбище сделалось бы одним из первых в Европе. Древний Кремль с златоглавыми Соборами и готическим дворцом своим, большая зеленая гора с приятными отлогостями и цветниками; река не малая и довольно красивая, с двумя мостами, где всегда движется столько людей; огромный Воспитательный дом с одной стороны, а с другой длинный, необозримый берег с маленькими домиками, зеленью и громадами плотового леса; вдали Воробьевы горы, леса, поля — вот картина! вот гульбище, достойное великого народа! /.../ Воображаю еще множество лодок и шлюпок на Москве-реке с разноцветными флагами, с роговою музыкаю: ежедневное собрание

<sup>10</sup> Показательно: апология истории, объяснение ее пользы и удовольствий, с ее изучением связанных, одновременно применимо и к плану природы. Ср. в предисловии к «Истории»: «Но и простой гражданин должен читать Историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей /.../; утешает в /.../ бедствиях /.../; она питает нравственное чувство, и праведным судом своим располагает душу к справедливости /.../. Вот польза: сколько же удовольствий для сердца и разума! Любопытство сродно человеку, и просвещенному и дикому /.../ (История. — В. Т.) расширяет пределы нашего собственного бытия; ее творческому силую мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим; еще не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувствительность» [7, т. I, с. 13—14].

людей на берегу ее без сомнения произвело бы сию охоту забавляться и забавлять других... Сверх того Кремль есть любопытнейшее место в России по своим богатым историческим воспоминаниям, которые еще возвысили бы приятность сего гульбища, занимая воображение.— Но это одна мысль. Кремлевская стена есть наш Палладиум: кто смеет к ней прикоснуться? Разве одно время разрушит ее, так же, как оно разрушило стену вокруг Белого города и Земляного /.../ И так удовольствуемся своим *булеваром!* куда, государи мои, вы позволите мне и теперь отправиться: ибо облака рассеялись и солнце проглянуло».

Объединение «пейзажно-ландшафтного» и «исторического» вытекает не только из общих взглядов Карамзина и его практики совместного держания того и другого перед своим взглядом — реальным или только мысленным. Это объединение здесь оправдано тем более, что с первых же строк БЛ оба эти аспекта выступают вместе и могут быть разделены только искусственно и с ущербом для целого. Тот, кто в начальной же фразе повести говорит о себе как о Я, любит бродить в окрестностях Москвы, гулять пешком, без плана и без цели, куда глаза глядят (а глядят они повсюду, где приятно и хорошо), созерцать красоты природы, погружаться в раздумье при виде памятников истории, вспоминать уже знакомое и открывать для себя новое. Это гуляние не только бесцельно, беспланово, но и бескорыстно: строго говоря, в нем нет очевидной необходимости и практической пользы, но есть душевная потребность, которая, будучи удовлетворена, доставляет человеку некое тонкое удовольствие, возникающее как бы само собой, произвольно и захватывающее и чувства, и разум. Само «гуляние» и именно в таком виде в конце XVIII в. было явлением довольно новым, и Карамзин у нас, несомненно, как и во многом другом, был пионером таких прогулок<sup>11</sup>. В БЛ рассказчик, правда, не гуляет, а *бродит* (ср. также *прихожу, нахожу, вижу*)<sup>12</sup>, но о своих прогулках Карамзин говорил часто и охотно. «Меж тем, любезнейший друг,— писал Карамзин И. И. Дмитриеву 20 мая 1800 г. из Кунцева,— гуляя и наслаждаясь и говоря с Ж. Жаком десять раз в день: о grand Être! О grand Être! считаю остальные волосы на голове своей и вздыхаю. Прошли те лета, в которые сердце мое ждало к себе в гости какого-то неопisanного счастья; прошли годы тайных надежд и сладких мечтаний! /.../ Так на шумном пиршестве утружденные гости один за другим расходятся; музыка умолкает, залы пустеют, свечи гаснут, и хозяин ложится спать — один! /.../. Для чего /.../, перестав быть любезным, хотим

<sup>11</sup> Само использование слова *гулять* для обозначения неторопливой бесцельной прогулки, где главное — созерцание и раздумья, размышления, мечты, с этим созерцанием связанные, но только удовлетворение физической потребности к движению, но и восполнение некоего духовного дефицита, т. е. *гулять* в «карамзинском» смысле, относится к карамзинской эпохе (если не считать редких исключений). До того времени гуляли гуляки, бездельники, разбойники, бродяги, скитальцы, кочевники, гуляли в кабаках и притонах, в широком поле и темном лесу, на перепутьях и на чужбине. Более или менее регулярно слово *гулять* и однокоренные с ним слова появляются лишь в XVII в. (редкие исключения отмечены в конце XVI в.) (см. [10]). Анализ материала русского и других славянских языков отсылает к обозначению более грубых видов удовлетворения физических (в основном) потребностей — гулять-развлекаться, бездельничать, кутить, пировать, танцевать, дурачиться, беспутничать, бродяжничать и т. п., см. [11].

<sup>12</sup> Ср., однако, контекст «гуляния» в БЛ, в связи с Эрастом, которому автор передал это свое излюбленное времяпрепровождение, но в сниженном варианте: «Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах /.../. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена /.../, в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои проводжали».

еще быть любимыми? -- Hélas!». Люди, хорошо знавшие Карамзина, не раз отмечали его пристрастие к прогулкам<sup>13</sup>. Впрочем, и сам он не только говорил о новой моде на прогулки, но и был историографом этой моды<sup>14</sup>.

Собственно говоря, это гуляние, «брожение» пешком, без плана, без цели и приводит рассказчика в ту удивительную точку, где так дружно и органично «природно-пейзажное» объединилось с «историческим» в единую картину, которая и стала пространственно-временным фоном истории бедной Лизы. Вместе с тем этот «частный» локус, некое хорошо и с большой точностью определяемое место на высоком холме над рекой, у стен Си...нова монастыря, откуда далеко видно во все стороны, отсылает и к самой Москве, и к всей России, и даже к ее истории — к седой древности. Это многообразное дальновидение («до конца горизонта»), о котором автор говорит так скупое, но значимое, расставляет очень важные концептуальные акценты, недооцениваемые ни исследователями, ни, кажется, читателями. Эти акценты как раз и позволяют актуализировать связь «исторического» и «пейзажного» и — позже — соотнести с этим макропланом нечто несравненно меньшее — частную историю бедной Лизы, чтобы почувствовать ее конгениальность и «большой» истории и «вечной» природе.

Три начальных фрагмента (абзаца), образующих экспозицию, построены по принципу последовательного возрастания текстового объема при сужении «разыгрываемого» в каждом из этих фрагментов локуса.

Первый фрагмент — «Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города своего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты». Здесь игра строится на контрасте между некоей всеобщностью (локус — практически все окрестности Москвы во всем их многообразии — луга, рощи, холмы, равнины) и абсолютной выделенностью того, что характеризует Я (ср. трехкратное «никто..., как...», «никто чаще», «никто более»). Всякое лето — всякие красоты, что предполагает потенциально полный набор их, но уже в следующем отрывке, более просторном по объему, начинается сужение: выбирается лишь одна из московских

<sup>13</sup> Иногда, впрочем, подчеркивалась регулярность прогулок и их целенаправленность («Николай Михайлович» имел привычку — и привычку неизменную, — ходить (для здоровья) много, долго и во всякую погоду» (см. [12, с. 445]). Но такая прогулка-моцион, конечно, отлична от тех прогулок, с описания которых начинается БЛ. Тот же мемуарист говорит и о гимнастических занятиях Карамзина, также почти неизвестных русскому обществу того времени, ср.: «Очевидцы рассказывали, что Николай Михайлович смолоду был веселонаравен, быстр в движениях и, как говорится, легок на подъем. Часто заставляли его опирающегося на спинку стула и делающего легкие пируэты, — вероятно, это была гимнастика» [12, с. 449].

<sup>14</sup> Ср.: «Старинные Русские Бояре не заглядывали в деревню, не имели загородных домов и не чувствовали ни малейшего влечения наслаждаться Природою (для которой не было и самого имени в языке их); не знали, как милы для глаз ландшафты полей, и как нужен для здоровья деревенский воздух /.../. Какая розница с нынешним временем, когда Москва совершенно пуствует летом /.../. А кто должен остаться в Москве, тот желает по крайней мере переселиться за город; число сельских домиков в окрестностях ее год от году умножается; их занимают не только дворяне, но и купцы. Мне случилось в одной Подмосковной деревне видеть крестьянский сарай, обращенный в комнату с диванами; тут в хорошее время года живет довольно богатый купец с своим семейством /.../. Самые ремесленники любят уже веселиться хорошим днем на чистом воздухе. Поезжайте в Воскресенье на Воробьевы горы, к Симонову монастырю, в Сокольники: везде множество гуляющих. Портные и сапожники с женами и детьми рвут цветы на лугах, и с букетами возвращаются в город /.../. Еще не так давно я бродил уединенно по живописным окрестностям Москвы и думал с сожалением: „какие места! и никто не наслаждается ими!“, а теперь везде нахожу общество!» («Записки старого Московского жителя»). Ср. в «Евгении и Олигии»: «Гуляя по цветущим лугам /.../, беспрестанно посматривали на большую дорогу /.../. Прогуливали с долею обыкновенного /.../ или «Гуляя при свете луны, рассматривали звездное небо, и дивились величию Божию» и т. п.

окрестностей и в ней лишь одно определенное место, из которого, однако, видно вовне многое, хотя и меньшее, чем вся сумма московских окрестностей, о которых шла речь ранее.

Второй фрагмент — «Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные готические башни Си...нова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина, особенно когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются гучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбацких лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской Империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалье, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и здает село Коломенское с высоким Дворцом своим».

Этот отрывок представляет собой панорамное описание того, что видно (*видишь, видна, видны, представляется глазам*) на три четверти окоема: к северу (*на правой стороне*), в отдалении почти вся Москва, громада домов, купола и кресты ее церквей; к западу (*на другой стороне реки*) — роща, Данилов монастырь, Воробьевы горы; к югу (*на левой же стороне*) — поля, лесочки, деревеньки, Коломенское и его дворец<sup>15</sup>. Москва видится средоточием «исторического», «культурного», «рукотворного», но особенно великолепен ее вид, когда сама природа идет навстречу зрителю, — при вечерних лучах заходящего солнца<sup>16</sup> (образ,

<sup>15</sup> Только к востоку не обращается взгляд рассказчика, но именно в этой стороне нет ничего примечательного: скудно-однообразное пространство, тянущееся вплоть до Сукина и Карацаровского болот и полностью лишенное элементов «исторического».

<sup>16</sup> Закат солнца, особенно последние лучи его, для Карамзина значили многое — и как некий важный жизненный мотив, и как литературная тема. Ф. Н. Глинка вспоминает о последнем годе жизни Карамзина: «В 1825 г. поехал я (тогда еще считалось это диковинкой) на пароходе „Берта“ в Петергоф на известный праздник. Пароход не был еще как нынешние; качка заставляла меня выйти на палубу. Оттуда еще издалека увидел я на берегу, выше кипевшей внизу толпы, человека величавого, стоявшего неподвижно и спокойно смотревшего на заходящее солнце, позлатившее небо и залив, утихший после волнения. Сойдя с парохода и пробравшись сквозь толпы суетившегося народа, я очутился лицом к лицу с Карамзиным. „Что вас вызвало сюда, Николай Михайлович?“ — спросил я. Он ответил: „Я всякий вечер прихожу сюда посмотреть на заходящее солнце“ /.../. (12, с. 449); ср. здесь же, с. 443: «Читая его, понятия приятность смотреть на восходящее солнце, на запад, окрашенные угасающими лучами его /.../. В произведениях Карамзина не раз встречаются описания заката (как и восхода) солнца, ср., например: «Обнявшись, выходили они из дому; дожидались солнца, сидя на высоком холме, и встречали его с благословением. /.../ Вечер приносил с собою новые удовольствия. Смотрели на заходящее солнце /.../» («Евгений и Юлия»); «Он идет вперед бестрепетно, наслаждается последними лучами заходящего светила, обращает покойный взор на прошедшее /.../» («Наталья, боярская дочь»); «Солнце по чистому лазоревому своду катилось уже к западу, море, освещаемое золотыми его лучами, шумело /.../. Алая заря не угасала еще на светлом небе, розовый свет ее сыпался на белые граниты /.../, освещал острые башни древнего замка» («Остров Борнгольм») и др. Ср. также в связи именно с Симоновым (и некоторыми другими) монастырем: «Мы говорили о монастырях; прибавим, что они большею частью стоят на прекрасных местах: Андрониев, Новоспасский, Симонов, где я провел столько приятных летних вечеров, смотря на заходящее солнце с высокого берега Москвы-реки» («Записка о московских достопамятностях», ср. в БЛ *вечерние лучи, летние дни* в связи с той же ситуацией присутствия при закате солнца) или же — «Вечер приятен. В нескольких шагах от корчмы течет чистая река. /.../ Я отказался от ужина, вышел на берег, и вспомнил один Московский вечер, в который, гуляя с Пт. под Андроньевым монастырем,

предвосхищающий Достоевского, особенно охотно эксплуатировавшего этот прием). Если конкретный природный ландшафт Москвы дается достаточно бегло и «в целом», что частично возмещается пейзажем ближнего плана в западном направлении — «внизу», между холмом Симонова монастыря и рекой с грузными струями, то по ту сторону пейзаж господствует безраздельно вплоть до Воробьевых гор, сливающихся с горизонтом. Только златоглавый Данилов монастырь нарушает в этом направлении пространство «природного». Сходная ситуация открывается и при взгляде на юг — разнообразные ландшафты с несколькими деревеньками на переднем плане и — как предел — Коломенское с его дворцом. Организация этого второго фрагмента заслуживает очень высокой оценки: не случайно, подобный панорамный принцип был усвоен прозой на рубеже XVIII и XIX вв. и широко использовался именно как карамзинское изобретение<sup>17</sup>. Организация осуществляется по нескольким пространственным параметрам — по странам света, кодируемым как правое, левое, переднее; по дальности — близости (дальний и ближний планы); по вертикали (гора — низ). В результате получается очень компактное, экономное и вместе с тем очень емкое описание, достойное той «великолепной картины», которая открывалась зрителю от стен Си...нова монастыря. Само описание дано очень искусно: создается полная иллюзия того, что в нем нет долгих перечислений. Увлеченный разворачиваемой автором картиной, читатель незаметно для себя «подстраивается» к автору, вовлекается в последовательный обзор панорамы и начинает как бы поторапливать автора («далее», «а

с отменным удовольствием смотрели мы на заходящее солнце. Думал ли я тогда, что ровно через год буду наслаждаться приятностями вечера в Курляндской корчме?» («Письма русского путешественника»; из дальнейшего текста правдоподобно реконструируется, что и в Курляндии в этот вечер Карамзин вышел на берег смотреть на закат). Сентиментальная повесть усюица этот мотив заходящего (и восходящего) солнца как важный индекс некоей временной пороности, имеющей отклик и в душе чувствительного персонажа. Ср.: «/.../ и я остановился взглянуть на картину необозримого озера и заходящего вдали солнца. Это было в мае месяце, навсегда памятно для меня /.../. Половина дневного светила скрылась за шар земной, и последние лучи его скользнули по краям горизонта и земли. С другой стороны светлый месяц возносился на голубое воздушное пространство /.../ — все это привело меня в какое-то неопианное восхищение. Оно, казалось, было предчувствием близкого счастья и темным образом говорило мне: „Здесь найдешь ты то, чего ищешь!“ /.../» (В. В. Измайлов — «Ростовское озеро»); «Время тогда было прекрасное. Багровое солнце, спускаясь вон за ту гору, освещало последними лучами мою хижину. Сизые облака, плавая по небу, накидывали завесу на заходящее светило. Природа показалась мне величественною! Какие небесные чувствования колебали тогда мою душу! Какою благодарностию пламенел я к Создателю! Я воспел гимн вечерний, встал, приблизился на край утеса и увидел Софью /.../» (Г. П. Каменев — «Софья»); «Тихий и прохладный вечер заступал уже место палящего дня, когда Улад, молодой певец, приблизился к берегам Москвы-реки /.../; он увидел на крутизне горы уединенный терем /.../. Последнее блистание вечера играло еще на тесовой кровле верхней светлицы и на острых концах высокого типа /.../» (В. А. Жуковский — «Марьяна роща») (речь идет о холме, на котором позже был воздвигнут Кремль), ср. там же: «Легкие струйки источника, озлащаемые заходящим солнцем, которое прониало сквозь редкие деревья, сливали нежное свое плесканье с шорохом тростника /.../ и др., ср. этот же мотив в «Обитателе предместья» и «Эмилевых письмах» М. Н. Муравьева. Очень часто мотив восхода и захода солнца сочетается с мотивом высокого места (холма, горы, берега), ср. у Карамзина кроме БЛ «Евгений и Юлия», «Марфа-посадница», «Рыцарь нашего времени». Впрочем, высокое место у Карамзина выступает как знаково отмеченное и вне «закатно-восходного» контекста, ср. в «Лиодоре» отклик на личные переживания осени 1791 г.: «Никогда не забуду я сей осени, столь приятно нами проведенной. Никогда не забуду уединенных наших прогулок, когда мы, сидя на иссохшей траве высокого холма, смотрели на поля опустевшие, на редкие унылые роица — внимали шуму порывистого ветра, разносящего желтые листья — чувствовали трепет в сердцах своих, и с красноречивым молчанием друг друга обнимали»; ср. там же — «Там, на высоком берегу реки Ревы /.../».

<sup>17</sup> Ср. рассказ Н. Мамышева «Злосчастный» (1807): «Долго смотрел я на величественную картину натуры, прислонившись к сухой высокой иве на берегу ручья /.../. В леве, за обширным лугом, чернелся древний бор; передо мною, на гладком косогоре, было пространное сельское кладбище /.../. Тихая река /.../ обтекала его. С правой стороны видна неизмеримая степь /.../. В задумчивости смотрел я на заходящее солнце /.../ — и погрузился в сладкое забвенье» и т. п.

там что еще» и т. п.), не замечая, что два десятка строк, прочитанных немногим более чем за минуту, вмещают не только «великолепную», но и очень богатую и разнообразную картину, о которой отчасти можно судить по спискам объектов и их свойств: 1) небо, солнце, лучи, гора, низ, правая сторона, левая сторона, другая (т. е. противоположная, заречная) сторона, даль (двух степеней: *подальше* и *еще дальше*), край горизонта; 2) луга, поля, роща, лесочки, деревья (с их тенью), дубы, вязы, зелень, пески, река, горы; 3) Си...нов монастырь и его готические башни, Данилов монастырь, село Коломенское и его дворец, Воробьевы горы, Москва, Российская Империя и ее плодоноснейшие страны; 4) монастыри, громада домов и церквей, их главы, купола, кресты, дворец, деревеньки, село, хлеба; 5) рыбаки, пастухи с их песнями (предполагаются и земледельцы); 6) струги, рыбацьи лодки, весла, руль; 7) мрачный, готический, древний, ужасный; величественный, великолепный, бесчисленный, неисчислимый, плодоноснейший, обширный, высокий; золотой, златоглавый, густо-зеленый, желтый, светлый (предполагается и синий, ср. *синеются*); тучный, грузный, густой, алчный, молодой, цветущий, унылый, единообразный, простой, легкий, шумящий; вечерний, летний и т. п.

Третий фрагмент — переход от панорамы, от взгляда вовне, вдаль, в пространство природы с ее ландшафтами, лишь кое-где оживляемыми монастырями или дворцом и редкими деревеньками (Москва, конечно, составляет исключение), к рассмотрению того, что нам не *там*, а *здесь*, вблизи, даже внутри, что связано не с природой, но с культурой и историей и что требует не только и не столько физического взгляда (глаз), сколько духовного видения, которое облегчается предшествующей ему реконструкцией далекого прошлого и воспоминанием о недавнем прошлом.

«Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с Природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, — стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, когорые в них жили, — печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед Распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах — с бледным лицом, с томным взором — смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит — и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет — и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем храме случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ Богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества — печальную историю тех времен, когда свирепые Татары и Литовцы<sup>18</sup> огнем и мечом опустошали окрестности Российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного Бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях».

Этот отрывок в общем контексте экспозиционной части БД означает существенный поворот от общего к конкретному, от анонимно-безличного, «третьеличного» (во втором фрагменте лишь однажды и при этом в первой его фразе встречается перволичная форма — «Но всего приятнее для меня то место...»), тогда как в третьем фрагменте таких форм десять) к

<sup>18</sup> В издании 1814 г. [13] вместо «Литовцы» стоит «Поляки».



личному и непосредственно перволичному (*прихожу ... встречаю ... прихожу ... внимаю ... сердце мое содрогается ... вхожу ... представляю себе ... вижу ... рассматриваю ... Все сие обновляет в моей памяти...*), от идиллического и сиюминутного настоящего к трагическому и давнему, от «природно-пейзажного» к «историческому». Второй фрагмент — о том уютном, приветливом, счастливом мире, в котором жила и собиралась жить дальше наивная Лиза; третий предвещает рушащийся и беспощадный мир, в котором оказалась бедная Лиза, не захотевшая такой жизни и принявшая безвременную смерть (ср. о безвременной смерти в третьем фрагменте). Об этом последнем мире как бы заранее оповещает общая тональность этого отрывка (*в мрачные дни осени горевать ...* (во втором фрагменте — лето) *страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов /.../ и в темных переходах келий /.../ опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездной минувшего поглощенных, — стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет /.../ печальные картины /.../ молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме болезни и слабости /.../ проливает горькие слезы /.../ томится, вянет, сохнет — и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его*<sup>19</sup>/*.../ обновляет /.../ печальную историю /.../ в лютых своих бедствиях*). Не случайно, именно этот третий фрагмент непосредственно подводит к теме *бедной Лизы* и к тем «слезам нежной скорби», которые вызываются воспоминаниями о ее «плачевной» судьбе: эта-то судьба и влечет рассказчика-автора прежде всего — прежде прекрасного вида окрестностей Москвы и красот природы, прежде древней истории Си...нова монастыря и недавних драм, в нем совершившихся, — к стенам этой печальной обители<sup>20</sup>. Лишь после того, как об этом заявлено со всей пылкостью чувствительного сердца, может начаться рассказ о самой истории бедной Лизы<sup>21</sup>.

Именно в этом третьем фрагменте становится понятным смелый и не понятый ни современниками, ни последующими поколениями читателей замысел Карамзина соположить два таких разных и до того несопоставимых контекста — «исторический» и «интимный», о любви и смерти одного неж-

<sup>19</sup> Характерный для Карамзина пример компрессии текста с помощью элидирования (пропущено что-то вроде «и, наконец, умирает»).

<sup>20</sup> «Но всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря — воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!».

<sup>21</sup> Следует подчеркнуть, что и этот третий фрагмент обнаруживает искусную организацию его и определенную «умышленность» автора, кажется, не всегда распознаваемую. Впрочем, верхний слой организации довольно прозрачен. Здесь сходная с предыдущим фрагментом мена картин-эпизодов с помощью упорядочивающих схем *Там ... Здесь ...; там... там... тут ...* (контрастный тип связи); *Иногда ... Иногда ...* (тип, основанный на повторе, «веер возможностей») и т. п. К этим упорядочивающим средствам относятся и глаголы восприятия, членящие весь объем воспринимаемого (*вижу, рассматриваю, представляю себе, внимаю*); нужно отметить и наличие «второго» перцептивного плана: *вижу & Там юный монах /.../ с м о т р и т /.../ в и д и т /.../ в и д и т ...* И это «второе» и «вторичное» видение томящегося внутри монастыря, за решеткой окна, и «несвободного» юного монаха вводит «природное» — поле, море воздуха, в котором свободно плавают птицы. Эта фигура юного монаха, полного жизни, но принимающего безвременную смерть, связывает монастырскую старину (представителем ее выступает седой старец, для которого уже исчезли все удовольствия жизни и умерли все чувства, оставив лишь слабость и болезни) с сегодняшней жизнью монастыря, тоже, как и жизнь юного монаха, находящейся под угрозой, и намекает на ту молодую жизнь, которой суждено погибнуть. Здесь же, в связи с рассматриванием изображений чудес на вратах храма, вводится тема обновления памяти — о «печальной истории» отечества, увиденной через прошлое Си...нова монастыря. Но рассказчика-автора влечет к стенам этого монастыря не только «историческая» память, но и «воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы». Для обновления этого воспоминания он и приходит сюда *часто* — и весной и осенью, и эти посещения — поминальные.

ного сердца. Но разве не Карамзин сказал, говоря об Историке: «Где нет любви, нет и души», и несколько ранее, в том же «Предисловии» к его «Истории»: «её (истории.— В. Т.) творческою силою мы живём с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим!» [7, т. I, с. 14]. И разве Лиза не была человеком его времени, и разве он не полюбил её и не оплакивал её судьбу! Соединив судьбу человека, простого, маленького, «неисторического», с судьбой государства и его «исторических» персонажных воплощений, Карамзин создал то сверхнапряжённое «историческое» поле, на котором через сорок лет *бедный Евгений* на равных встретится с *Медным Всадником*. Человека, человеческую душу, любовь Карамзин мотивировал «исторически» и тем самым ввел в историю или, говоря точнее, поставил под сомнение непроходимость границы между «историческим» и «личным» пластами бытия, намекнув на существование некоего «транс-исторического» или «метаисторического» модуса бытия, в котором растворены или пресуществлены и «историческое» и «личное».

И другой намек был сделан Карамзиным — о нравственности как общим знаменателем этих двух начал и о природе, которая по условию лишена безнравственности. «Помнишь, друг мой, как мы некогда рассуждали о нравственном мире, ловили в Истории все благородные черты души человеческой, питали в груди своей эфирное пламя любви /.../ и проливая сладкия слезы, восклицали: человек велик духом своим! Божество обитает в его сердце!» — напишет Карамзин через три года после БЛ («Мелодор к Филалету», 1795). И далее — «Природа казалась нам обширным садом, в котором зреет божественность человечества» и, разочаровавшись в ней: «Самая Природа не веселит меня. Она лишилась венца своего в глазах моих, с того времени, как я не могу уже в её объятиях мечтать о близком счастье людей; с того времени, как удалась от меня радостная мысль о их совершенстве, о царстве истины и добродетели; с того времени, как я не знаю, что мне думать о феноменах нравственного мира, чего ожидать и надеяться!». Но Филалет многое объяснил своему другу — и о ложном представлении об истории как дурной и вечно повторяющейся бесконечности, и о торжестве истины нравственности, и о необходимости доверия к Природе — «Нет, нет! Сизиф с камнем не может быть образом человечества, которое беспрестанно идет своим путем и беспрестанно изменяется. Прохладим, успокоим наше воображение, и мы не найдем в Истории никаких повторений /.../ Мой друг! мы должны смотреть на мир как на великое позорище, где добро со злом, где истина с заблуждением ведет кровавую брань. Терпение и надежда! Все несправедное, все ложное гибнет, рано или поздно гибнет: одна истина не страшится времени; одна истина пребывает вовеки! — Природа уже не веселит тебя? ... /.../ Нет! пока чувствительное сердце бьется в груди твоей, любя Природу; утешайся ею; ищи радости в её объятиях! Люди, по несчастному заблуждению, могут быть злы: Природа никогда!» («Филалет к Мелодору», 1795).

Экспозиция БЛ даёт повод расширить тему «исторического» в связи с этой повестью под углом зрения той исторической традиции, которую в БЛ продолжает Карамзин, и в связи с «историзмом» как категорией, определяющей необходимый уровень точности изложения, когда «художественное», в принципе не исключая «исторического», может тем не менее этим «историческим» не быть.

В последнее время стало модным называть Карамзина «последним летописцем». Конечно, Карамзин, если угодно, продолжил дело летописцев, по-новому взглянув, однако, на задачу исторического описания. Истина требует заменить экстенсивное «последний летописец» на интенсивное и сути дела отвечающее «первый историк». Эта замена оправдана и тем, что писал сам Карамзин: «Читатель заметит, что описываю деяния

не врознь, по годам и дням, но совокуплю их для удобнейшего впечатления в памяти. Историк не Летописец: последний смотрит единственно на время, а первый на свойство и связь деяний: может ошибиться в распределении мест, но должен всему указать свое место» («Предисловие» к «Истории» [7, т. I, с. 20])<sup>22</sup>.

В связи с этим уместно вкратце остановиться на том, что лежит глубже различия между Историком и Летописцем, — а именно на том, какую традицию продолжает Карамзин в «исторической» части БЛ, и на «точности» как выдающейся отличительной черте Карамзина не только историка, но и художника. При этом нужно напомнить, что наиболее зримыми и репрезентативными объектами «исторического» в повести, выдвинутыми целенаправленно в самое ее начало, являются Москва, ее окрестности, Симонов монастырь. Панорамное обозрение Москвы с высокого места, поэтическое восхищение красотой *места сего* объединяют «историко-пейзажную» экспозицию БЛ с более ранними текстами и позволяют говорить об определенной преемственности, создающей традицию некоего «стандартного» описания Москвы. Речь идет прежде всего о старорусских повестях о начале Москвы, прежде всего о «Повести о зачале Москвы» (далее — ПМ), «Сказании об убийстве Даниила Суздальского и о начале Москвы» (далее — СД), но отчасти и о «Сказании о зачатии Москвы и Крутицкой епископии» (далее — СК) (см. [14], ср. также [15—18] и др.). Ранее уже отмечалось, что эти повести представляют собой яркие образцы складывающегося нового жанра исторической «предповести», рассказа о начале традиции (с элементами этиологической легенды, ср. СК), создаваемого в тот период, когда впервые появляется потребность в уяснении своих «исторических» (конкретно — пространственно-временных и персонажных) корней (см. [19]). Эти тексты (и в этом их другая не менее важная особенность) строятся как художественная (по сути дела) композиция, опирающаяся, в частности, на принципиальную мозаичность источников. Тогда же указывалось, что есть веские основания говорить о единой линии развития от этих текстов до беллетризованных «исторических повестей» второй половины XVIII в. и далее (включая соответствующие «чисто» художественные тексты Карамзина и раннего Жуковского). Наконец, у повестей о начале Москвы есть и третья особенность, которая в известном смысле имеет отношение к БЛ. Речь идет о том, что эти старорусские повести, несомненно, опираются на некую локальную (суздальскую и/или московскую) устную традицию, на некое предание, для которого существенна именно устная («полуфольклорная») форма передачи (это, разумеется, не исключает возможности промежуточных записанных текстов, фиксирующих предание). Выше писалось о том, что и изложение истории бедной Лизы и тем более сам текст БЛ как бы предполагают серию предшествовавших ему устных рассказов, в которых последним звеном был рассказ Эраста, поведенный «рассказчику», а первым — некий «обобщенный» и анонимный меморат, сложившийся в кругу крестьян-соседей, услышавших о конце Лизы от непосредственной свидетельницы этого печального события — Анюты. Но есть и другой аспект «меморатности» БЛ: текст карамзинской повести стал основой для «мифологизированных» версий истории бедной Лизы — как устных, имевших хождение среди москвичей

<sup>22</sup> Следует добавить к этому, что экспликация источниковедческих данных («тягостная жертва, приносимая достоверности, однако ж необходимая!», как скажет сам Карамзин) также отличает Историка от Летописца. В более широком смысле, уже не только собственно «историческом», но и «художественном», эта особенность продолжается в искусстве мотивировок разного рода, которые и составляют первый слой «материи», образуемый точностью, достоверностью, интерпретируемой обычно несколько отвлеченно, но в принципе справедливо как «художественная правда».

(прежде всего) в связи с *местом сим* (как правило) и составивших то, что можно было бы назвать «текстами Лизинога пруда», так и письменных — и литературных (у эпигонов Карамзина, авторов сентиментальных повестей и рассказов, иногда совершенно беззастенчиво копировавших БЛ)<sup>23</sup> и чисто эпиграфических (ср. свидетельства о многочисленных надписях, испещрявших беседку, построенную у Лизинога пруда для поклонников бедной Лизы; хорошо известно и изображение этой беседки).

Помимо этих общих особенностей и некоторых более специальных, здесь же рассматриваемых<sup>24</sup>, стержневым должно считаться «историко-пейзажное» сродство соответствующих частей повестей о начале Москвы и БЛ. Чтобы критерий сравнения стал ясным, уместно привести из этих старых повестей отдельные цитаты: «и абие прииде на реку, глаголемую Москву, и ста на берегу реки станом. И по сем възде на гору, иде же ныне сей царствующий град, и виде красоту места сего, по иже горе и оба полы реки Москвы бысть бор великий и много бысть в нем зверия и всекого обилия. Се же виде в место сие Кучко и распалися сердцем и рече: „Господи, даждь ми сие место, понеже и обилно всякого блага“. И пребысть на месте сем 3 дни, зря красоту его» и несколько далее — «Кучко же прииде на место сие и устрои себе двор свой на сей горе по левую страну реки Москвы... Люди же своих посели по обе страны реки Москвы и за Неглинною...» (ПМ) [14, с. 193—194], ср. в другом списке («третий вид»): «Сам же князь благоверный Георгий Владимирович възде на гору и обозре с нея семо и овамо по обе стран Москвы-реки, Неглинки и Яузы протоками, и возлюбил места и села оныя» (ПМ) [14, с. 198], ср. (ПМ) [14, с. 189] («первый вид») при «...а наутро вставает на восходе солнца и входит в светлицы и в теремы высокия, и смотрит на Кучковы села красные по обе стороны Москвы-реки и за Неглинную, и в поля чистые» (СД) [14, с. 236] или «Потом посмотрив князь Андрей по всем красным того боярина Кучкова селам и угодьям, видя красоту места того, и вложи ему Бог во уме, еже построити на том месте град, еже бысть» (СД) [14, с. 242]<sup>25</sup>.

Как известно, Карамзин, с молодых лет живо интересовавшийся Москвой и в ее настоящем, и в ее прошлом, хорошо знал эти старорусские повести о начале Москвы, но при этом само собою разумелось, что знакомство с ними произошло при работе над «Историей», где при всей лаконичности сообщения о «пред-Москве», автор все-таки не удерживается и от повторения поэтической детали («... сей Князь, приехав на берег Москвы-реки, ... и плененный красотою места, основал там город» [7, т. II, с.

<sup>23</sup> Впрочем, и сам Карамзин в БЛ очень активно использовал как общую схему, так и многие диагностически важные детали из истории другой «бедной Лизы» (ср. [20]. Об этом см. далее).

<sup>24</sup> Любопытна ритмичность повестей о начале Москвы именно в отмеченных их местах: *И почему было Москвѣ царством быть, /и хто то знаѣ, что Москвѣ государством слыть* (с дактилическими концовками периодов) или *Были на сем месте по Москвѣ-реке села красныя, хорощія/болярина Кучка...*, или *Лутче было бы нам не мыслити и не дѣяти ... дела смѣртнаго...* (с дактилической доминантой) и т. п.

<sup>25</sup> Ср. в «Предании об основании Москвы Олегом»: «... Олг прииде на Москву-реку, в я же тскут Неглинна да Яуза, и постави ту град, и нарече Москва...». Как бы в ответ на природную красоту «предмосковского» ландшафта — пророчество, вкладываемое в уста Митрополиту Петру, со следами геопанорамы: «И пророчествова о сем граде, что по Божию благословению будет град сей великий и многолюдны, и устроятся в нем Божиим благословением дом всемогущия и живоначальные Троицы и Пресвятыя Богоматери. И церковей Божиих и монастырей будет бесчисленное множество, и наречется сей град второй Иерусалим, и многими державами обладати, не токмо всюю Россиею, но иныя страны прославятся, восточныя, южныя и северныя, и обладает многими ордами до теплого моря и до студеного океана» (СД) [14, с. 240, ср. с. 227—228, 230, 234]. К мотиву предназначенности места сего быть великим городом ср. и СК [14, с. 246, 249].

133]. Во всяком случае в примечаниях к этому месту основного текста Карамзин подробно приводит обширные цитаты из текстов «московских» повестей [7, т. II, с. 310—312], в том числе и «пейзажные». Как историк Карамзин в этих примечаниях неумолимо критичен («Сия повесть сочинена в новейшие времена и содержит в себе явные ошибки», далее они разъясняются; или: «у нас есть другая, гораздо обстоятельнейшая повесть о начале Москвы, изобретенная совершенным невеждою»)<sup>26</sup>, и он имел на это право: сам умел достаточно строго отделять «историческое» от «поэтического», как бы ни дорожил он этим последним. «Поэтическое» из повестей о начале Москвы было творчески переработано (если он их читал еще до написания БЛ) или предвосхищено им, но свое место нашло не в «Истории Государства Российского», а в истории бедной Лизы<sup>27</sup>.

Нужно подчеркнуть, что в тех же примечаниях Карамзин ссылается на «изустные предания» о начале Москвы и, в частности, среди вариантов местоположения Кучковых сел, дебатруемых историками, называет и «Симоново (где Симонов монастырь)». Видимо, заслуживает особого внимания тот факт, что урочище, позже названное Старым Симоновым, было известно с XII в., так как именно здесь находилось село боярина Кучки (на «постной» земле, ограниченной с запада высоким и обрывистым берегом Москвы-реки, а с севера глубоким и крутым оврагом), и это место отличалось особой красотой (ср. сочетание тем «кучковых» сел и необыкновенной красоты в вышеупомянутых повестях о начале Москвы); по другой версии, разумеется, не исключаяющей первую, великий князь Дмитрий Иванович обменял эту землю с двумя Медвежьими озерцами (Верхним и Нижним) в густой березовой роще на два села — Воскресенское и Верх-Дубенское, — где находилась пустынная обитель с церковкой Спаса Преображения, построенной игуменом Афанасием. Другой стороной, участвовавшей в обмене, был симоновский чернец Савва.

Одно из следствий карамзинского историзма — пристальное (хотя чаще всего незаметное) внимание к деталям — историческим, жизненным, психологическим, топографическим и т. п. и соответственно к художественному их воплощению — и точность в их выборе и изображении. Унылый и запущенный вид монастыря, страшный вой ветров «в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах

<sup>26</sup> В первом издании (1818) в соответствующем месте эта повесть дополнительно описывалась как «писанная размером старинных сказок» (прим. 301).

<sup>27</sup> Карамзина с полным основанием можно назвать и поэтом и историком Москвы. Достаточно напомнить его интерес к московскому летописанию и прежде всего к Троицкой летописи, которую он так полно использовал в своей «Истории». Более того, сделанные им обширные выписки послужили основным источником для реконструкции М. Д. Приселковым (рукопись сгорела во время пожара 1812 г.). Значение Троицкой летописи определяется прежде всего тем, что она фиксирует важный этап русской истории в почти синхронных описываемым событиям записях (1305—1408), который практически не отражен в русском летописании, и также тем, что московская тема в этом памятнике получила исключительно полное отражение. «Н. М. Карамзин /.../ первый понял и оценил значение Троицкой летописи, а поэтому гораздо интенсивнее и полнее Миллера использовал Троицкую летопись; /.../ наконец, Карамзин дал нам постоянным сличением Троицкой с Лаврентьевской летописью целый ряд косвенных указаний большой важности, и даже открыл возможность /.../ судить о внешних данных Троицкой летописи как рукописи, т. е. сообщил некоторые наблюдения для восстановления „описания“ Троицкой летописи в палеографическом смысле» [21, с. 9—10]. Конкретно об использовании Карамзиным этой летописи в «Истории Государства Российского» [22, с. 48—71] (ср.: «Но до сих пор „История Государства Российского“ Н. М. Карамзина остается фактически единственным трудом, содержащим основную массу текстов утраченной пергаменной летописи начала XV в. Он первый оценил ее по-настоящему как источник» [22, с. 70]. Оба упоминания о Симоновом монастыре в Троицкой летописи («Того же лета (1405 г.— В. Т.) Киприан митрополит Антонья, епископа туровского, сведе со владычества /.../ и привде его от Турова на Москву и посади в кельи на монастырь иже на Симоновъ» [21, с. 459] и «Того же лета месяца октября в 1 день, в четверг, в монастырь, иже на Симоновъ, священна бысть церковь Успения, юже замысли и основа Федор игумен» [21, с. 260] были выписаны Карамзиным (ср. мотив старца в келье Симонова монастыря в БЛ).

келий» очень точно соответствует тому жалкому положению, в котором очутился этот славный своей историей монастырь во время, когда писалась БЛ. «Опустение» было результатом политики секуляризации, проводимой Екатериной II, когда монастырь был закрыт. Когда в 1771 г. началась московская чума («морозная язва»), в его стенах устроили чумной карантин и военный госпиталь (в 1788 г. монастырь был передан кригс-комиссариату; именно в эти годы Карамзин и посещал Симонов монастырь): немощь, болезнь, смерть стали постоянными обительницами этих стен (старец, молящийся о скорейшем разрешении земных оков, и юный монах, безвременно умирающий здесь, могут быть поняты как трансформированные персонализированные образы страданий, с этим местом связанных)<sup>28</sup>. Положение монастыря переменилось, впрочем, скоро: в 1795 г. он был снова открыт как один из оплотов борьбы с расколом. Изображение чудес на вратах храма (падающие с неба рыбы) и тут же находящийся образ Богоматери, обращающей неприятелей в бегство, получают документальное подтверждение (нужно помнить, что монастырь, построенный около 1370 г., был посвящен Рождеству Богородицы; он находился поблизости от его более позднего местоположения, в двухстах-трехстах метрах к юго-западу, в Старом Симонове). Через несколько лет, в 1379 г., монастырь был перенесен (по некоторым сведениям, по совету князя Дмитрия Ивановича) на его нынешнее место, тоже красивейшее, но стратегически более выигрышное, и посвящен Успению Богородицы (ср. уже процитированное место об освящении этого храма из Троицкой летописи [21, с. 460]). Место это было подарено монастырю боярином Степаном (Стефаном) Васильевичем Ховрой (Ховриным), который позже постригся здесь в монахи под именем Симона, перешедшим позже и на монастырь. А через три года после переноса монастыря на новое место тема татар, обозначенная в БЛ, стала страшной действительностью для обитателей Симонова монастыря: в 1382 г. татары во главе с Тохтамышем совершили один из наиболее опустошительных набегов на Москву (для Карамзина эта тема могла актуализироваться и потому, что здесь были похоронены герои Куликовской битвы Ослябя и Пересвет)<sup>29</sup>, и такие набеги совершались еще не раз в истории Симонова монастыря. Эта татарская тема, независимо от результата очередного набега или даже просто его угрозы, всегда была тревожной. Позже, в своей «Истории», Карамзин не раз остановится на ней, и Симонов монастырь снова попадет в сферу его внимания — теперь уже как «историка» по преимуществу. В страшный для Москвы день Вознесения 24 мая 1571 г., когда за три часа город сгорел дотла (и лишился около полутора миллиона жителей, уведенных в плен), с одной из башен Симонова монастыря крымский хан Девлет-Гирей и ногайские мурзы смотрели на пламя, пожиравшее Москву. Монастырь не был сожжен, он был разграблен. Через двадцать с небольшим лет москвичи праздновали победу над другим крым-

<sup>28</sup> Впрочем, и здесь речь может идти о вполне точных зарисовках; насколько известно, при закрытии монастыря больные монахи и немощные старцы, кажется, получали возможность окончить свои дни в стенах бывшего монастыря. Нужно заметить, однако, что «медицинская» тема обнаруживает здесь себя и раньше. Уже во второй половине XVII в. около Сушила, особого здания, предназначенного, видимо, для просушки продовольственных припасов, была построена больница и кельи. В 1700 г. по желанию сестры Петра I Марии Алексеевны при этой больнице учредили церковь преподобных Ксенофонта и Марии [23, с. 178—179, 184, 187]. Идея призрения проходит и через всю историю Старого Симонова — от 1379 г., когда старый монастырь Рождества Богородицы стал прибежищем для старцев-молчальников (здесь же хоронили и умерших монахов из новосимоновской обители), до XVIII в., когда при Елизавете Петровне при Рождественской церкви были открыты женская богадельня.

<sup>29</sup> Ср. в «Записках о Московских достопамятностях»: «Древнейшие монастыри суть: /.../ Симонов (близ коего, на Старом Симонове, находится древняя церковь Рождества Богородицы, где лежит прах двух сподвижников Донского, Инок Пересвета и Осляби, убитых в Куликовском сражении)».

ским ханом Казы-Гиреем, и в Симонове в честь этой победы в 1593 г. над западными воротами было решено воздвигнуть церковь Всемилоственного Спаса. В своей микротопонимии Симонов тоже, кажется, хранит память о татарах, хотя бы и косвенно и/или вторично. Во всяком случае предание связывает название башни Дуло с именем предводителя татар, подступивших к монастырю; он был убит стрелой, пущенной в него с этой башни. И литовско-польская тема, также присутствующая в БЛ, тоже не раз становилась актуальной для монастыря, особенно в Смутное время, когда он был сожжен и разрушен (1610—1613 гг.; можно напомнить, что в 1606 г. он готовился к отражению Болотникова).

Наши знания об исторической эрудиции Карамзина позволяют (практически с полной достоверностью) расширить «Симоновский» контекст автора: он, несомненно, знал, что это святое место не только связано с Сергием Радонежским, но и в значительной степени обязано ему своим возникновением<sup>30</sup> (между прочим, по преданию он собственноручно вырыл пруд неподалеку от монастыря; к пруду из монастыря вел подземный ход, позже засыпанный; соблазнительно было бы думать, что речь идет о будущем Лисином → Лизинном пруде, но никаких строгих доказательств этого нет и, кроме того, возможно, пруд Сергия был ближе к монастырю, чем Лизин, едва ли находился с опасной южной стороны и был меньших размеров, чем Лизин; впрочем, исключать, что пруд, вырытый Сергием — Святое озеро (глубокое и незасыхающее) — и был позднейшим Лизинным прудом, никак нельзя [23, с. 178, 191]; как бы то ни было, можно с большим вероятием предполагать знание Карамзиным многих страниц истории Симонова монастыря и ряда его тайн). Карамзин, конечно, знал, что рядом с могилами иноков-воинов, под папертью церкви Рождества Богородицы похоронен «татарский» царь всея Руси Симеон Бекбулатович (и его жена царица Анастасия), любопытный персонаж столь знакомой историку эпохи Иоанна Грозного<sup>31</sup>. Но он не мог знать, что в могилы кладбища при Симоновом монастыре еще предстоит лечь меньше, чем через год после его смерти, юному Веневитинову, а на рубеже 50—60-х

<sup>30</sup> В «Житии Сергия Радонежского» есть специальная глава — «Начало Симоновского монастыря». В ней рассказывается о племяннике Сергия Федоре (сыне брата Сергия Стефана), которого в 12 лет отец привел к Сергию и отдал его ему в руки. Федор оставался у Сергия в полном послушании, вел добродетельную жизнь и никогда не утаивал от преподобного свои помыслы. По достижении совершеннолетия у него возникло желание найти место, на котором можно было бы основать общежительный монастырь. В этом желании он признался Сергию и говорил ему об этом желании не раз. «Святый же, яко видя надлежащ на сие помысль его, помышляше нечто Божие быти». Сергий отпускает Федора и тех, кто захотел с ним идти, и вскоре он «обръет мѣсто зѣло красно на строение монастырю близъ рѣки Москвы, именем Симоново» [24]. Узнав об этом, Сергий пришел сюда, нашел это место удачным и повелел строить здесь монастырь. Получив благословение, Федор «создавъ церковь на томъ мѣстѣ въ имя Пречистыя Владычица наша Богородица честнаго ея Рождства. И тако съставляетъ монастырь вся по чину стройнѣ и зѣло изърядно; и общежитие учини, яко же подобает по преданию святыхъ отецъ, въ славу Божию монастырь чудотѣнь». Великая слава стала распространяться о монастыре, и многая братия стекалась сюда отовсюду. Росла слава и Федора, и Сергий весьма беспокоился о чести и славе его, и «молитвы непрестанно къ Богу всылаше, въ еже свѣршити ему течение без преткновеица». Многие ученики и сподвижники Федора прославились в великих добродетелях. Когда Федор в 1383 г. оказался в Константинополе, в знак заслуг монастыря патриарх Нил сделал его ставропигиальным, подчиняющимся непосредственно константинопольскому патриарху. При переводе монастыря на новое место была построена каменная церковь Успения Богородицы — весь жизненный круг Богоматери как бы укладывался между старой церковью Рождества Богородицы в Старом Симонове и новой церковью Успения Богородицы поблизости. С удовлетворением отмечает автор «Жития»: «И тако сему бывающу, на томъ мѣстѣ благодатию Христовою устроены бысть монастырь славнѣ, въ еже и доннынѣ отъ всѣхъ зрится и почитается» [24].

<sup>31</sup> В Успенском соборе монастыря нашли вечный покой его строитель Григорий Степанович Ховра (собор стал родовой усыпальницей Ховринных-Головиных), схимонах Стефан, сын Дмитрия Донского, псковский князь Константин, ослепленный Борисом Годуновым и скончавшийся в монастыре митрополит Стефан и др. На монастырском кладбище похоронены

годов XIX в. Сергею Тимофеевичу и Константину Сергеевичу Аксаковым, отцу и сыну. Несчастливой была их посмертная судьба: монастырь был уничтожен, и прах их не нашел вечного упокоения в месте сем.

Но более ранний контекст Симонова монастыря Карамзин определенно знал: одни факты подтверждаются самим Карамзиным в других его сочинениях, других фактов — он не мог не знать, поскольку в его время они были хорошо известной частью устойчивой традиции, третьи — могли ему быть известны, хотя доказательств этому не сохранилось, наконец, четвертые, последние, были ему точно неизвестны, поскольку были извлечены из источников, открытых позже, но и в этом случае «новые» свидетельства оказываются в том же общем «поле», что и другие, известные Карамзину, первым осознавшему и выразившему дух этого исторического «Симонова» контекста. В центре этого контекста, конечно, Сергей Радонежский, о роли которого в основании Симонова монастыря уже говорилось. Но им же были заложены и те духовные основы, которые еще при жизни Сергея усваивались в Симонове, ставшем питомником сергиевого направления в русской религиозной жизни. Известно влечение к монашеской жизни московского юноши Кузьмы, будущего Кирилла Белозерского, и те трудности, которые вставали на его пути. Только Стефан Махрищенский, друг преподобного Сергея, взял на себя смелость постричь Кузьму в монахи (против этого решительно выступал боярин Тимофей Вельяминов, у которого в доме служил как казначей Кузьма, его родственник). Иноческие труды Кирилла начались именно здесь: аскеза, послушание, временное вступление на стезю юродства («утаити хотя добродетель»), когда он совершал поступки, «подобные глумлению и смеху», за которые его сурово наказывал настоятель. Но, может быть, важнее представить себе встречи Кирилла с приходившим в монастырь к своему «братаничу» Феодору преподобным Сергием, вызывавшие удивление и Феодора и братии. Во время этих встреч в хлебе Сергей часами беседовал с Кириллом «о пользе душевной»; сергиевы уроки были усвоены им, и народ, оценивший это, все более и более стекался к монастырю (позже в церкви появились предел Сергея Радонежского и алтарь Кирилла). Зависть нового архимандрита (после того, как Кирилл добровольно и практически сразу же отказывается от настоятельства) заставляет Кирилла сначала уединиться в Старом Симонове, где он безмолвствует, а потом и уединиться «далече от мира», по слову Богородицы, обращенному к нему однажды ночью, за акафистом (к Богородице Кирилл имел особое усердие), и по знаку, ему данному, — огненному столпу в северной полосе, который и привел его к Белоозеру. Среди тех немногих, кто на первых порах помогал Кириллу строить обитель, были и три симоновских монаха. Опыт «симоновского» жития находит себе применение и продолжение в Белоозере: строгое общежитие, практиковавшееся в сергиевских обителях, совершение всего по чину, «по старчеству», молчание, послушание, нестяжательность. Знак связи с Богородицей, с Симоновым монастырем, с Москвой нужно видеть и в том, что первая деревянная церковка в Белоозере была освящена во имя Успения Божией Матери (как церковь в Симонове и как собор в московском Кремле). В заводскую

князя Урусовы, Головины, Мстиславские, Темкины, Бутурлины, Татищевы, Сулешовы, Бахметевы, Нарышкины, Мещерские, Муравьевы, Салтыковы, Бахрушины, Мусин-Пушкины и др. (см. [23, с. 191—192]). В 1919 г. кладбище было закрыто, а несколько позже Рогожско-Симоновский райсовет дал разрешение на продажу надмогильных памятников населению «на вывоз» по 25—30 рублей; они использовались как строительный материал. К 1927 г. от кладбища почти ничего не осталось. Через несколько лет та же судьба постигла и сам Симонов монастырь: ночью 21 января 1930 г. в годовщину известной смерти были взорваны все церкви монастыря. «Рачительные» новые хозяева подсчитали, что стройки Москвы получают 200 тыс. кирпичей к тем 35 тыс., которые были сложены в штабеля, чтобы пойти в дело при строительстве здесь Дворца культуры АМО.



страну Кирилл ушел с Ферапонтом, который до этого тоже был монахом в Симонове; придя в Белоозеро и некоторое время пожив там, он не выдержал «тесного и жестокого» жития и, отъединившись, основал в пятнадцати верстах особую монастырскую обитель, будущий Ферапонтов монастырь.

Связи Симонова монастыря были обширны уже с самого его начала. Уже в 1383 г., когда духовник Дмитрия Донского священник Михаил (Митяй) был послан в Константинополь в надежде добиться для себя сана митрополита Москвы и севера России, среди немногих сопровождавших его был и первый симоновский игумен Феодор, вскоре ставший архимандритом. После Феодора и Сергия Азакова игуменом Симонова стал знаменитый Вассиан (в миру князь Василий Иванович Косой-Патрикеев). Василий III покровительствовал ему, и Вассиан был вхож во дворец до тех пор, пока в ходе спора о монастырских имуществях между иосифлянами и заволжскими старцами не вынужден был им пожертвовать. На соборе 1531 г. Вассиан был осужден (к тому же он имел смелость выступить против развода Василия III с его женой Соломонидой). Из Симонова вышли многие высшие иерархи русской церкви — митрополиты московские Геронтий (1473) и Варлаам (1511), который позже «остави митрополию и отиде на Симонов, а с Симонова сослан в Вологодский уезд на Камень» (по Герберштейну, причина этого крылась в осуждении Варлаамом клятвоступления Василия III в известном деле Шемячича), патриархи всея Руси Иов (1588), Гермоген (1606), Иосаф II (1633), Иосиф (1642); все они в свое время были архимандритами в Симонове; в конце XV в. игуменом монастыря был Макарий. Но здесь и оказывались многие известные духовные фигуры — одни добровольно, как митрополит Зосима, принявший на себя в 1494 г. обет воздержания от употребления воды, другие — не по своей воле: в 1524 г. сюда привезли, вероятно, самого блестящего писателя, ученого, богослова того времени Максима Грека, но по осуждению его Собором 1525 г. он был сослан на вечное поселение в отдаленный монастырь, где прожил до самой своей смерти тридцать лет. Как место заключения этот монастырь выступал и гораздо раньше. Так, известно, что еще в 1404 г. митрополит Киприан намеревался заключить туровского епископа Антония в Симонов с тем, чтобы, сняв с него сан, содержать его там под стражей. Подобная практика существовала долгое время. Уже при Екатерине II, в годы секуляризации монастырских земель, сюда был сослан смелый противник этих антимонырских акций митрополит ростовский и ярославский Арсений Мациевич, которого в 1763 г. лишили сана, а позже под именем Андрея Вралья заключили в ревельскую крепость, где он и умер. Такое дополнительное использование Симонова монастыря, придававшее ему некий мрачный колорит, было возможным при полном доверии духовных и светских властей к игумену и братии монастыря. Неслучайны известные факты покровительства монастырю со стороны великокняжеской и царской власти и, может быть, некие интимные связи. Возможно, особое отношение к Симонову Ивана Грозного объясняет, почему вклады по душам опальных он делает именно в этом монастыре<sup>32</sup>.

Возвращаясь к более позднему времени, нужно высказать предположение, что Карамзин едва ли мог обойти своим вниманием и барочные палаты царя Федора Алексеевича в Симоновом монастыре, и многое другое. Уже позже с галереи этих палат гуляющие москвичи любили рассматривать панораму Москвы и кое-кто, конечно, не мог не вспоминать при этом Карамзина и вдохновенное начало БЛ. «С галерей этих палат, — сообщает один из последних предреволюционных путеводителей по Москве, — открывается широкий вид на Москву. В XVIII и начале XIX вв. Симонов м-рь

<sup>32</sup> Сумма вкладов по душам опальных, внесенная в Симонов монастырь Иваном Грозным в три приема, достаточно велика — 647 руб. 20 алтын (см. [25]).

служил излюбленным местом прогулок для москвичей (и этим монастырь во многом обязан именно писателю.— В. Т.); здесь устраивалось настоящее гулянье; симоновский пруд, воспетый Карамзиным, обратился в Лизин пруд (Симонова слободка, трамвай 28 от Спасской заставы)» [26]. И литература, когда обращалась к «Симонову» урочищу, помнила о прецеденте — об истории бедной Лизы и шла вслед за Карамзиным: даже после страшной революции, 130 лет спустя после БЛ<sup>33</sup>. Тень Карамзина и сейчас, через двести лет после того, как первые читатели прочитали эту повесть, на оставшихся от разрушения стенах Симонова монастыря, у того места, где еще после революции, до лета 1930 г., можно было видеть ныне исчезнувший Лизин пруд (отдельные деревья, доживающие свой век, может быть, еще вспоминают его в своих предсмертных грезах).

Совершенно очевидно, что эта привязка рассказа о бедной Лизе к «Симоновскому» урочищу и — шире — к его «историческому» контексту, как и та достоверность и точность деталей этой привязки, обнаруживаемая в БЛ, не могут быть полностью объяснены (и соответственно выведены) потребностями самого «нарратива», выстраиваемого автором, или даже тем пространственно-временным педантизмом, который не позволяет творческой художественной фантазии преодолеть эмпирические условия данного конкретного места действия. Во всяком случае в русской художественной прозе XVIII в. ни до БЛ, ни после нее у последователей Карамзина подобной точности не отмечено, если не считать произведений того жанра, который по своей внутренней структуре требует постоянных пространственно-временных спецификаций (ср. «Путешествие из Петербурга в Москву») <sup>34</sup>. Это с большой долей вероятности указывает на то, о чем нетрудно было догадаться и на других основаниях: пространственная (и специально — топографическая) и временная (в частности, хронологическая, прежде всего

<sup>33</sup> «Отослав Григория и вскрыв пакет, Алексей увидел лист своей собственной бумаги, исписанной его почерком, но только обратным зеркальным письмом, в котором дьявольское стеклянное существо глумилось над всем для него святым, называло его убийцей и предлагало в разрешении спора встретиться завтра в 6 часов утра у Симонова монастыря и в честном поединке решить, кому из них надлежало жить под солнцем.— Алексей не пытался заснуть всю эту ночь».— А рано утром: «Через полчаса Алексей стоял у подножия ив Лизина пруда (во времена Карамзина здесь росли древние дубы.— В. Т.). Полоса тумана застилала собою водную поверхность и поворот шоссе, и обнаженные уже осенью деревья чернели изгибами своих ветвей сквозь сизую утренняя дымку. Восходящее солнце сверкало на каплях росы. Занимался день роскошного московского бабьего лета.— Целых двадцать минут Алексей нервно ходил взад и вперед по вязкому берегу. Стали показываться люди. Какой-то тряпичник порывясь своим крюком в куче мусора и пылливо посмотрел на Алексея. Проехали, громяхая, возы с капустой и, громко разговаривая, прошли две бабы в пестрых платках и кофтах горошком, кутаясь от утренней свежести в шали и боязливо поглядывая на Алексея.— Время очевидно было упущено.— Алексей оглянулся кругом и вдруг ужасное подозрение наполнило его душу. Ясно понял, что непростительно глупо попал в элементарную ловушку. Бегом бросился к заставе. /.../» [27]. Контраст между возвращением к *месту сему*, к Симонову, к пруду, овеянному памятью о бедной Лизе и авторе ее истории, и новым пейзажем, столетие с лишним спустя, образует главный художественный эффект этого отрывка, так удачно одновременно включающегося и в стилизованную прозу и в «московскую» гофманиану. Что это не случайная прихоть автора, подтверждает «карамзинизм» автора, в частности, стремление обозначить эту свою связь, обнаруживаемую и в других его произведениях: «Гуляя по вечерам по склонам берегов москворецких, смотря, как тени от облаков скользят по лугам /.../, вспоминаешь весенние душистые цветы /.../ и ощущаешь чувственно, как все течет на путях жизни» или «Я люблю ночные московские улицы, люблю, друзья мои, бродить по ним в одиночестве и не замечая направления» и т. п. [28, с. 7, 18]. Ср. «/.../ Настенька смотрела в сад, где опалили последние желтые листья, и, задумавшись, гладила белую кошечку, а я, поместившись у ее ног, читал творения Коцебу, описания путешествия господина Карамзина и трогательные стихи великого Державина» [28, с. 58].

<sup>34</sup> Продолжатели Карамзина, авторы сентиментальных повестей и рассказов конца XVIII — начала XIX в., охотно использовали пространственные и временные индексы, заимствованные у Карамзина, прежде всего из БЛ. Однако эти индексы использовались исключительно как определенный прием, имеющий своей целью создать колорит подлинности излагаемого, дать

— относительно-хронологическая) точность нужна была автору и для чего-то более важного, чем потребности текста, и что сама эта точность была не столько топографической или хронологической, сколько психологической и, более того, «личностно-психологической» по своей природе. Через точность *этого* рода автор включал и себя, какой-то важный слой своей жизни в не только и не столько рассказываемую, сколько переживаемую историю. У него была насущная потребность вхождения в эту историю и, если не соучастия, то душевного присутствия в ней и свидетельства о ней. Подобно другому русскому поэту, и Карамзин чувствовал, что *Счастливы, кто постиг сей мир...* Но это был не мир истории, но мир души, ее переживаний, драмы, на ее долю выпавшей. И в этом смысле катаклизмы истории как бы уравнивались и во всяком случае глубинно соотносились с трагедией одной *простой души*, а может быть, с предощущением драматических коллизий и другой, куда более сложной и глубоко аналитической души — автора. Так или иначе, но в БЛ впервые в русской прозе автор самозванно и объявлено «подселяет» себя к участникам происшедших событий, укореняется в тексте, хотя и скромно и деликатно выбирает маргинальную позицию: он лишь косвенный свидетель событий, и ни Лизы, ни *того*, тогдашнего, Эраста он не знал.

Скромность соблюдал Карамзин и в своей точности: она никогда не демонстрируется напоказ, но всегда ненавязчива, и едва ли многие вообще ее замечают. Ну, зачем, скажем, в сентиментальной повести, где главное — чувства, приводить цифровые данные топографического характера? На какого читателя рассчитывал Карамзин? До того ли этому читателю, скорее уж чуткому и сострадательному, чем трезвому и нуждающемуся в эмпирической точности, знать, что хижина, в которой жила Лиза со своей матерью, была «саженях в семидесяти от монастырской стены» (и тут же, в одной фразе, и дальнейшие уточнения — «подле березовой рощицы, среди зеленого луга, /.../ хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась»), а злополучный пруд был «саженях в восьмидесяти от хижинны»? Не опасался ли Карамзин, что читатель, приближающийся к нему по точности и изощренности и сам желающий войти в силовое поле БЛ, в атмосферу душевности, ею создаваемую, проверит его числовые характеристики (благо он, читатель, знает две точки из трех точно — монастырь и пруд?) Нет, Карамзин не опасался быть уличенным в неточности: точности психологической в БЛ всегда сопутствует фактическая точность, и читатель-аналитик может установить место-

понять читателю, что перед ним не выдумка, но был-ль (ведь и у самого Карамзина — «Ах! Для чего пишу не роман, а печальную бль?»). Три типа пространственных индексов получили особое распространение: 1) ориентиры, перенесенные (ничтоже сумняшеся) из Карамзина, прежде всего из БЛ, ср. окрестности Москвы, берега Москвы-реки (Милонов — «История бедной Маши»), берега Москвы-реки (В. В. Измайлов — «Прекрасная Татьяна», здесь же — Воробьевы горы, Серпуховская дорога), берег Москвы-реки (Лажечников — «Спасская лужайка») и т. п.; 2) новые, иногда и малоизвестные и даже экзотические ориентиры, ср.: Няндома (Львов — «Даша, деревенская девушка»), Днепр и Ворскл (так! — В. Т.) («Парамон и Варенька»), Украина, Херсон, Кубанская линия (Мамышев — «Злосчастный»), Волга (Каменев — «София»), Ростовское озеро, Яковлевский монастырь (В. В. Измайлов — «Ростовское озеро»), Петербург (Лажечников — «Спасская лужайка») и т. п.; 3) условные обозначения — от «нулевых» до разной степени дешифруемости «частичных» типов, ср.: в городе (А. Е. Измайлов — «Бедная Маша»), N<sup>...</sup>, место рождения героини рассказа («Истинное приключение благородной россиянки»), Л, Е («Несчастная Лиза»), М-а, город, очевидно, Москва (Брусиллов — «Легковерие и хитрость»), берега Д-на, вероятно, Дона («Гламед и Линна»), Старая Р-нь, на берегу реки О... («Варенька»), Х...ч...ский монастырь, очевидно, Кизический монастырь в Казани (Каменев — «Иппа») и т. п. Из временных индексов, начавших распространяться в русской литературе этого времени и получивших позже большое распространение, нужно отметить «квази-реальные» датировки, ср. их в текстах, имитирующих дневниковые записи (Клушин — «Несчастный М-в» или Сушков — «Российский Вертер»), а также в «Письмах русского путешественника» Карамзина (характерно, что другое «Путешествие» — радищевское — обходится без датировок при детальной проработке пространственных ориентиров).

положение Лизиной хижины с точностью до 20—30 сажен («избыточное» расстояние по сравнению со 150 (70 + 80) сажен, отделяющих пруд от монастыря; впрочем, и здесь есть тонкости, позволяющие думать, что это ничтожное несоответствие должно быть сокращено еще более)<sup>35</sup>. Этот же читатель поймет, что общий «дубовый» контекст БЛ<sup>36</sup> точно отвечает дендрологическим реалиям «Симоновского» урочища, отмеченным в связи с обоими главными локусами юго-восточных окрестностей Москвы — Симоновым монастырем и Коломенским — еще в старых и довольно многочисленных источниках<sup>37</sup>.

Карамзинская точность не ограничивается соответствием описываемого реальным историческим событиям. Не менее (а в ряде ситуаций и более) важна точность, введенная в самое структуру повествования, во внутреннее его пространство, безотносительно к внешнему «термину» сравнения. Умение «держаться» это внутреннее время повествования и искусство хронометража, очевидно выделяющие Карамзина среди как его современников, так и предшественников и даже ближайших наследников, не подлежат сомнению и бросается в глаза сразу же. Но более детальный анализ позволяет говорить о такой проработанности временной структуры текста и об открытии такой хронологической «микроскопии», которая заставляет вспомнить о Достоевском и считать Карамзина первооткрывателем всей соответствующей линии в русской литературе. Один пример для иллюстрации. Какова продолжительность действия БЛ — от первой встречи Лизы с Эрастом (к этому времени ей было 17 лет — число, не названное в тексте, но легко вычисляемое (Лиза осталась после смерти отца пятнадцатью летней & «Прошло два года после смерти отца», когда она пошла в город и впервые встретила Эраста) и символически отмеченное, о чем в свое время писал, правда, в связи с Петербургом, Е. П. Иванов) до дня гибели? Текст БЛ позволяет выстроить следующую хронологическую цепь: день первой встречи М & «на другой день /.../, т. е. М + 1 & «на другой день ввечеру...», т. е. М + 1 + 1 (вторая встреча) & «наступила ночь /.../ Лиза спала очень худо /.../ Еще до восхождения солнечного Лиза встала,

<sup>35</sup> Известно, что в старину (засвидетельствованную, однако, источниками, в частности, и картографическими) Лизин пруд обладал значительно большей площадью, чем на рубеже XIX—XX вв. (судьба почти всех необновляемых прудов), что не может не отражаться на данных, относящихся к определению расстояния до пруда от других объектов. В последнем предреволюционном путеводителе по Москве говорится и о жалком состоянии пруда и о подложности его мифологизированного имени: «И сейчас еще за Старым Симоновым существует грязный и запущенный пруд. Когда-то он назывался Лизиным прудом, но после того, как Карамзин утопил в нем свою героиню, за ним упрочилось название Лизина пруда, и к нему стекались на паломничество томные поклонники „чувствительного“ Карамзина, проливали слезы над бедной Лизой и вырезывали на коре прибрежных деревьев сердца и вензеля Лизы и Эраста» (см. [29, с. 363]). Еще перед самой войной на месте Лизина пруда сохранялось довольно значительное заросшее деревьями пространство (вдоль Тюфелева проезда и в конце Борьевского проезда, к югу от улицы Симоновская слобода), которое не нужно смещивать с находящейся южнее Тюфелевой рощей).

<sup>36</sup> Ср.: «/.../ всякий вечер виделась /.../ всего чаще под тению столетних дубов /.../, дубов, осеняющих глубокий чистый пруд /.../»; «Эраст стоял под ветвями высокого дуба /.../»; «/.../ и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов /.../»; «Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом /.../». И даже по ту сторону Москвы-реки — «На другой стороне реки видна дубовая роща» (в сторону Данилова монастыря; на первом геодезическом плане Москвы 1739 г., «мичуринском», это пространство практически лишено застройки, если не считать нескольких островков по берегу реки).

<sup>37</sup> Трижды упоминаемая в БЛ березовая рощица, около которой стояла хижина Лизы, пока не может быть подтверждена источниками. Однако при такого рода изысканиях надо помнить и о естественных переменах в составе пород деревьев. При общем «дубовом» колорите Симонова ср. свидетельство более чем семидесятилетней давности: «Местность кругом монастыря постепенно застраивается, но современная жизнь еще не подошла вплотную к обители, и стены ее отделяются от соседних построек с одной стороны, удивительно гармонирующей со стенами и башнями старой, суровой твердыни...» (см. [29, с. 360—361]). И у Лизина пруда со временем знавшим это место бросались в глаза не дубы, но ивы.

сошла на берег /.../, т. е.  $M + 1 + 1 + 1$  (третья встреча, на которой было условлено «всякий день ввечеру видеться») & разговор утром с матерью («Какое прекрасное утро!»), т. е.  $M + 1 + 1 + 1 + 1$  & «Таким образом прошло несколько недель /.../, т. е.  $M + 1 + 1 + 1 + 1 + X$  (встреча, образующая кульминацию) & «Завтра, завтра увидимся», т. е.  $M + 1 + 1 + 1 + 1 + X + 1$  & «Свидания их продолжались», т. е.  $M + 1 + 1 + 1 + 1 + X + 1 + Y$  & «Наконец пять дней сряду она не видала его», т. е.  $M + 1 + 1 + 1 + 1 + X + 1 + Y + 5$  («в шестой пришел он с печальным лицом /.../») & «На другой день надлежало быть последнему свиданию», т. е.  $M + 1 + 1 + 1 + 1 + X + 1 + Y + 5 + 1$  (объявление Эрастом Лизе, что он уходит на войну, судя по всему — лет за 30 до описываемых событий — Семилетнюю) & «Таким образом прошло около двух месяцев», т. е.  $M + 1 + 1 + 1 + 1 + X + 1 + Y + 5 + 1 + \text{около } 2\text{-х месяцев}$  (день случайной встречи с Эрастом в Москве, расставания навсегда и Лизиногo самоубийства). Упростив приведенную формулу ( $M + 11$  дней + около 2-х месяцев +  $X$  недель +  $Y$  (неопределенное время, в течение которого свидания продолжались) или  $M + 2$  с небольшим месяца, не более 2-х с половиной + несколько недель  $X$  + некоторое время  $Y$ ), получаем некую временную протяженность, состоящую из фиксированного отрезка и двух неопределенных по продолжительности —  $X$  недель и  $Y$  дней (скорее всего). Первая встреча, видимо, состоялась не ранее середины мая и не позже начала июня («Луга покрылись цветами», появились ландыши). Вся история продолжалась не менее 3-х с половиной месяцев и едва ли больше 4-х (дубы не сбросили еще листья, но в тексте нет никаких указаний на глубокую осень), т. е. приблизительно между маем-июнем и сентябрем. Возможно, «мрачные дни осени» в экспозиции («си...новская» ее часть) сужают хронологическую интерпретацию гибели бедной Лизы, делая предпочтительным выбор осени (кстати, мотивы осени и смерти не раз сочетаются и в других произведениях Карамзина, ср. «Осень», 1789; «Кладбище», 1792; косвенно — в «Агатоне»: «Осень была для нас печальна; зимою мы расстались — и расстались навеки!»).

Зная точность Карамзина (она стала для него в БЛ принципом) вообще и точность его панорамы Москвы и московских окрестностей, подтверждаемую и старыми источниками, и отчасти даже сегодняшними визуальными наблюдениями, можно думать, что и в его «микрорландшафтных» описаниях он придерживался этого же принципа. Разумеется, нет оснований говорить в данном случае о «портретировании» местности, но весьма правдоподобно, что реалии в подобной ситуации существенно ограничивали и полет фантазии и применение «инвентивных» способностей автора.

Наконец, точность автора БЛ проявляется и в тех областях, где едва ли можно что-нибудь проверить, но есть некоторые признаки, подтверждающие точность самого Карамзина (в данном случае речь не идет о точности соответствия «поэзии» «правде»). Прежде всего эти признаки точности нужно видеть в степени о р г а н и з а ц и и текста БЛ как художественного целого. Количество связей разных элементов в тексте БЛ, сам характер этих связей (степень их сложности), продуманность и для конца XVIII в. изобретательность в мотивациях этих связей, наконец, соотношение между «естественными» связями, обязанными своим существованием общей логике любого, даже самого примитивного нарратива, и «искусственными» связями, не объясняемыми непосредственно эмпирией процесса порождения нарративного ряда и «умышленно» сконструированными автором, — все это ставит Карамзина в русской литературе его времени на совершенно особое место: многообразия и густота информации в БЛ не имеют себе равных в русской прозе XVIII в. Нужно полагать, что этот урок Карамзина, как и опыт французской «психологической» прозы, был усвоен и Пушкиным, избравшим, однако, иной, более интенсивный метод, в котором главное, однако, не густота связей, а их избирательность, что

и лежало в основе эффекта ошеломляющей лаконичности его прозы, ее «просторности».

Характер организации карамзинского текста, может быть, очевиднее всего проявляется в том, как реализуются пространственно-временные отношения на синтагматическом уровне. Степень насыщенности текста БЛ соответствующими индексами очень велика и сильно превышает принятые в то время нормы художественной прозы. Такая насыщенность едва ли была нужна читателю и едва ли была рассчитана на него: она отвечала естественной потребности самого автора видеть описываемое в до необходимой степени проработанном пространственно-временном контексте, ключевые элементы которого повторяются не один раз. Ср. последовательность вводимых в текст и описываемых им пространственных индексов: Москва, Си...нов монастырь, гора, «ужасная громада домов», окрестности города — хижина «подле березовой рощицы, среди зеленого луга» — Москва — улица — дом (хижина) — Москва (город), Москва-река — хижина — берег Москвы-реки — ближний холм — река — берег реки, березовая роща, близ хижины — берег — хижина — берег реки, березовая роща, пруд — соседняя деревня — у пруда — хижина — «под ветвями высокого дуба» — хижина — «густота леса» — Москва, одна из больших улиц<sup>38</sup> — дом Эраста — улица — путь из города — берег пруда, пруд — могила близ пруда — опустевшая хижина — могила. Последовательность временных индексов (в экспозиции отсылка к «печальной истории тех времен, когда...») определяется следующим образом: «Прошло два года после смерти отца Лизина» — «На другой день...» — «Наступил вечер...» — «На другой день вечером...» — «Становилось темно...» — «Наступила ночь...» — «Где до восхождения солнечного...» — «Но скоро...» — «До сего времени...» — «После сего., всякий вечер...» — «...прошло несколько недель...» — «Однажды вечером...» — «Завтра, завтра увидимся» — «Наконец пять дней сряду...» — «в шестой пришел он...» — «На другой день...» — на «утренней заре» — «... прошло около двух месяцев...» — «В один день...» — «... в сию минуту» (авторское) — «...за несколько недель перед тем...» — «Но через несколько минут...» — «... до конца жизни...» — «Теперь...» (авторское).

Это свойство точности распространяется в БЛ и на пейзаж. О продуктивности организации пейзажных описаний уже говорилось выше в связи с «авторским» пейзажем в экспозиции повести. Но все-таки главное в карамзинском пейзаже — это намечившийся серьезнейший разрыв с традицией

<sup>38</sup> Заслуживает внимания контраст между великолепной картиной Москвы во всем ее величии, видимой автором издали в экспозиции БЛ, и Москвою самой истории *бедной Лизы*: в последнем случае Москва, хотя и возникает не раз в ходе повествования, оказывается беспризнаковой — Москва, на улице, «на одной из больших улиц» (и далее, сужаясь: «великолепная карета», в которой Лиза увидела Эраста, двор, крыльцо огромного дома, кабинет), и это, собственно, все, что увидела и вблизи Лиза за три посещения города. Робость крестьянки, пришедшей по обстоятельствам в большой город, в первом случае, мономаническая идея увидеть Эраста и только его во втором случае и, наконец, неожиданная встреча с Эрастом и потрясший все ее существо его приговор в третьем случае по-своему объясняют, почему Москвы она, по сути дела, так и не увидела: Москва для нее клином сошла на Эрасте, была с первой же встречи вытеснена им; для Лизы Москва стала городом рока — и в счастье и в смертном горе (более ранних встреч с Москвой, о которых говорит сам автор — Лиза ходила в Москву продавать цветы, ягоды — для нее как бы не существует). Такой, близкий к «нулевому», «Лизин» образ Москвы, делает честь психологизму Карамзина. Совсем по-иному увидела город другая Лиза в ситуации аналогичной БЛ: «Лиза всему удивляется, что ни видит; любуется строением города, смотрит на проезжающих /.../. Лиза всю дорогу удивлялась великолепию города и была довольна тем, что она видела» или: «Приходит к городу, с восхищением смотрит на все, что ей встречается» («Лиза и Колин»). Наконец, можно принципиально отталкиваться от города, игнорировать его, как делает третья крестьянка, София из одноименной повести Каменева, усвоившая советы своего отца: «Беги городского зараженного воздуха /.../ Там должно жить, как велят, а не так, как хочется. Там бедных считают дураками, богатых — умными. Там счастье ездит в каретах, а с умом пешком бродят. Там люди не то языком говорят, что у них на сердце. Там встречают по платью — провожают по деньгам /.../».

«идиллически-литературных» пейзажных клише, однажды походя упоминаемых в несколько ироническом контексте в БЛ: «Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие и не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни провождали /.../. „Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям“, — думал он и решился — по крайней мере на время — оставить большой свет». Пейзаж Карамзина совсем иной и отвечает новому «преромантическому» чувству природы, усвоившему уроки Юнга, Томсона, Оссиана (ср. «Осень» Карамзина и некоторые другие стихотворения, а также общий колорит описания Си...нова монастыря, куда автор приходит «в мрачные дни осени горевать вместе с природою»). И если читателю уже полтора века кажется, что пейзажные описания — слабое место Карамзина, то это легко можно объяснить тем, что именно в этой области русская проза XIX в. достигла особенно больших успехов, как бы дающих право забыть первые шаги на этом поприще. Но все-таки нужно обратиться к пейзажу русской прозы до Карамзина, чтобы увидеть, как много принципиально нового было внесено им и в эту область.

Прежде всего Карамзину принадлежит заслуга органического введения пейзажа в художественную прозу. Ни в одной из разновидностей прозы XVIII в. в России пейзажа как некоего устоявшегося класса литературных явлений практически (за редкими исключениями, и то в основном представленными переводной литературой и ее русскими адаптациями и переделками) нет. Пейзаж начинается в самом конце XVIII в. — робко в прозе Хераскова<sup>39</sup>, более развернуто у раннего Львова (ср. две попытки в «Розе и Любиме», 1790)<sup>40</sup> и, конечно, прежде всего в ранних прозаических

<sup>39</sup> Несамостоятельность пейзажа у Хераскова проявляется в его однообразии (некая краткая картинка природы, увиденная при солнечном освещении), стандартности (что-то вроде заготовки годной на все случаи жизни; поэтому он без ущерба может быть повсюду изъят), статичности и некоей композиционной «окаменелости», привязанности, как правило, к начальным частям глав или книг (ср. «Кадм и Гармония» [30, ч. I, с. 1, 36, 68, 178; ч. II, с. 174 и др.]; исключения редки, ср. [30, ч. I, с. 136, 137; ч. II, с. 31]). Тем более эта самостоятельность проявляется у писателей более раннего времени. Ср., например, наиболее «пейзажные» фрагменты (кстати, исключительно редкие) из «Писем Эрнеста и Доравры» Федора Эмина: «Ежели ты любишь уединение, то где же оно лучше найти можешь, если не в здешних местах. Роши /.../ здесь прекрасны; садов у нас премоножество /.../, но природная уютность большого великолепия сады наши украшает. Различные цветы, которыми наш сад наполнен, представляют нам жилище Флоры, которую то богиню я вижу в Доравре /.../. Здесь природа в нежных своих цветах и в зеленых листочках являет свою веселость и живность; здесь розы, зря нас ими любующихся, как будто стыдятся краснеют; а приятныя лилеи /.../ как-будто в нежном своем цвете приятную являют улыбку. Овощи наших садов лучше нас довольствуют, нежели приятнейшие и искусно заправленные пиши на великолепных местах употребляемая /.../ и в вечеру смотрит на солнце /.../. Ежелиж в полдень солнце силою своего жару его обезпокоит, тогда он удаляется в густые кустарники /.../ зеленая трава служит ему вместо скатерти /.../. Из прозрачных источников протекающие чистые воды приятнее ему дорогих напитков /.../. О щастливой сельская жизнь /.../!» [31, с. 6—8]; — «Гидасп /.../, не могучи быть щастливым своею любовью, хаживал часто в оную рошу /.../, что бы сообщить свою печаль дремучим лесам /.../. Эрнест /.../ в той же роше оплакивал горестную свою долю» [31, с. 122, второй пагинации]. Если в первом случае «пейзаж» предполагает потребительское отношение к природе, то во втором природа уже собеседница души страдающего человека: в ней он ищет если не утешения, то забвения, но этот случай из числа редчайших исключений, которые не могут поставить под сомнение сказанное выше о пейзаже до Карамзина. Его условность несомненна, его самостоятельность и подчиненность очевидна.

<sup>40</sup> Радищев в своем «Путешествии», хотя и восклицал: «О, природа, колико ты властительна», искусно избегал пейзажных изображений, несмотря на то, что на протяжении всего путешествия пейзажи следовали непрерывно один за другим.

опытах Карамзина (при этом, несомненно, важную роль сыграли опыты перевода западноевропейской прозы, начиная с геснеровской «Деревянной ноги»). БЛ была первым блистательным прорывом в овладении пейзажным описанием. Три главных особенности заслуживают преимущественного внимания: пейзаж из подсобного приема с «рамочными» функциями, из «чистого» украшения и внешнего атрибута текста превратился в органическую часть художественной конструкции, реализующей общий замысел произведения, отражающийся посильно и, чем далее, тем более, и в самом пейзаже; пейзаж связался с функцией эмоционально-фасцинирующего воздействия, стал существенным средством передачи общей атмосферы; наконец, пейзаж был соотнесен с внутренним миром человека как некое зеркало души. В ряде случаев прослеживается стремление организовать «синтаксическую» связь пейзажей. Иногда она строится на контрасте, как в экспозиции БЛ: «объективная» и положительно-мажорная пейзажная картина широчайшего диапазона сочетается с более «субъективным» и отрицательно-минорным («кладбищенским») наброском, ограничивающим свой объект описания разрушающимся монастырем. Существенно при этом, что этот пейзаж — «авторский»: он вынесен за пределы рассказываемого и соотносится, строго говоря, с настроением автора, с двумя его состояниями, условно — «весенним» и «осенним».

Иногда пейзаж в БЛ очень лаконичен, прост и точен. Таков он в первой фразе нарративной части, где своим «светлым» характером он равно оттеняет и мрачную разрушающуюся монастырскую стену, и пустую пришедшую в упадок хижину: «Саженья в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась». Пожалуй, это единственный пейзаж БЛ, выдержанный в духе русской классической прозы XIX в. и лишенный обычно так или иначе проступающих следов сентименталистской школы. Такие следы, несомненно, обнаруживаются в следующем пейзаже, где вместе с тем, кажется, впервые изображается важная «пленеристическая» атмосферная деталь: «Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове Натуры <sup>41</sup>. Везде царствовала тишина. Но вскоре восходящее светило дня пробудило все творение: роши, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами света». Конечно, *Натура, кусточки, птички, головки* для многих читателей портят картину, хотя все-таки преходящая мода, даже неудачная с точки зрения *сега дня*, едва ли может зачеркнуть открытие в пейзаже ранее не виденного и никем не зафиксированного, динамизм картины и, наконец, тонкое соотнесение ее с настроением героини, данным в пейзажном контексте. Сразу после процитированного места сле-

<sup>41</sup> Один из более поздних шедевров «пейзажа с туманом» — в «Стук... стук... стук!..» Тургенева: «Да; но куда было идти? Туман охватил меня со всех сторон. На пять, на шесть шагов вокруг он еще сквозил немного, а дальше так и громоздился стеною, рыхлый и белый, как вата. Я взял направо по улице деревушки, которая тут же прекращалась: наша изба была предпоследняя с краю, а там начиналось пустынное поле, кое-где поросшее кустами; за полем, с четверть версты от деревни, находилась березовая рощица — и через нее протекала та самая речка, которая несколько ниже огибала деревню. Все это я знал хорошо, потому что много раз видел все это днем; теперь я ничего не видел — и только по большой густоте и белизне тумана мог догадываться, где опускалась почва и протекала речка. На небе бледным пятном стоял месяц — но свет его не в силах был, как в прошлую ночь, одолеть дымную плотность тумана и висел наверху широким матовым пологом. Я выбрался на поле — прислушался... Нигде ни звука; только кулички посвистывали /.../. Голос мой замирал вокруг меня без ответа; казалось, самый туман не пускал его дальше. — Теглев! — повторил я. Никто не отозвался» [32].



дует: «Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светила в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу» (ср. повторяющийся мотив капель росы). Согласие настроения Лизы с природой нарушилось: теперешняя Лиза задумчива и грустна, а вся природа веселится, как раньше веселилась с нею и Лиза. Но сейчас в жизнь Лизы вошла любовь, и разлад ее с природой образует знак выделенности Лизы из прежнего согласия с нею. И в этом смысле приведенное описание пейзажа и души в некоем общем контексте нужно считать открытием Карамзина в этой сфере и отдаленным подступом к «психологизированному» пейзажу<sup>42</sup>.

Утренний пейзаж еще дважды воспроизводится в БЛ. Первый из них — как бы продолжение только что описанного: после встречи с Эрастом и объяснения их в любви «Лиза возвратилась в хижину свою не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. „Он меня любит!“ — думала она и восхищалась сею мыслию». Эта мысль или, вернее, это чувство существенно определили мажорное восприятие природы: в эти минуты основным для Лизы было чувство радости, восторга, сознание того, что все вокруг прекрасно, и это душевное состояние Лизы не позволяло ни ей, ни разговаривающей с нею матери видеть особое, индивидуальное, частное в окружающей их природе. Мир, воспринимаемый как красота Божья, не нуждался ни в деталях, ни в аргументах. «„Ах, матушка! — сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась.— Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали, никогда солнце так светло не сияло, никогда цветы так приятно не пахли!“ — Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно, в самом деле, показалось ей отменно приятным, любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю натуру. „Ах, Лиза! — говорила она.— Как все хорошо у Господа Бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела Господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травой и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы Царь Небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали“. А Лиза думала: „Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!“».

<sup>42</sup> Нужно отметить, что этот «пейзаж с Лизой» играет важную и двойную композиционную роль, определяемую, с одной стороны, последовательными сценами с пастушкой и Эрастом (класс «любезных», ср.: «Здравствуй, любезный пастушок», — сказала бы ему Лиза, и он «взглянул бы на меня с видом ласковым — взял бы, может быть, руку мою... Мечта!»), а с другой, неожиданным (*Вдруг*) появлением Эраста, воплотившим мечту Лизы: «Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе — и мечта ее отчасти исполнилась: ибо он *взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку...*». Эта психологически точная и тонкая операция «подстановки» (и в любезном пастушке она, боясь себе в этом признаться, видит Эраста: смущение, стыд, страх перед слишком смелой мечтой заставляет Лизу проигрывать желанную ситуацию с Эрастом, используя его заместителя — пастушк<sup>а</sup>) — еще одно очередное свидетельство высокого уровня карамзинского психологического аналитизма применительно к сфере динамики любовного чувства. Трудно назвать в русской культуре конца XVIII — начала XIX в., кто мог бы в этом отношении сравниться с автором БЛ и несколько более поздних «*Quelques idées sur l'amour*».

Легко предположить, что сходные чувства одушевляли Лизу и во время ее свиданий с Эрастом — «или на берегу реки, или в березовой роще<sup>43</sup>, но всего чаще под тению столетних дубов /.../, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископанный»<sup>44</sup>.

В т о р о е описание природы, входящее в пару с только что приведенным, приурочено к последнему свиданию Лизы и Эраста перед его отъездом в армию. Два эти описания природы, отмечающие начало и конец их отношений, так же несходны между собой, как счастливое начало и горестная разлука, тот конец, о котором еще не догадывается (предчувствуя, однако, его) Лиза, но все знает Эраст. Этот второй «природный» фрагмент очень краток, тревожен, даже зловещ, и природное и личное так же неразрывно слиты в нем, как в первом фрагменте. «Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: „Прости, Лиза!“ Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по-восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании». В нескольких следующих строках расставляются последние жесткие акценты: «Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил ее — она упала — стала на колена, подняла руку к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее — и, наконец, скрылся — воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти». До сих пор жизнь ее души была в согласии с природой, собственно, у нее и природы была одна общая жизнь (позже о такой ситуации поэт скажет *С природой одною он жизнью дышал...*). Теперь, когда она пришла в себя, «свет показался ей уныл и печален». И более того — «Все приятности Натуры открылись для нее вместе с любезным ее сердцу». Это значит, что органическая связь ее жизни с жизнью природы нарушилась: последняя как бы перестала для нее существовать. И случайная, оказавшаяся роковой встреча с Эрастом, как и открытие того, что он ее обманул, повергли ее в состояние безысходности и поставили перед нею последний в ее жизни вопрос — что делать? как жить дальше? После прощального свидания с Эрастом под высоким дубом Лиза простилась и с природой. Отныне она была разъединена с нею (внешнее проявление этой разъединенности — полное отсутствие пейзажных деталей и описаний природы). Теперь вставал вопрос о прощании с жизнью, но все же пока это был только вопрос. Когда же, возвращаясь из города после встречи с Эрастом, Лиза «вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов», это вызвало у нее мучительное переживание, и мучение это исходило от некогда согласной с нею природы: «Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице ее». Может быть, именно это напоминание, исходившее от природы, от места, которому она была обязана столькими радостями, подсказало последний, окончательный ответ на последний вопрос, и самоубийственное решение было принято.

Ушла из жизни «прекрасная душою и телом», и снова появилось пейзажное видение, на этот раз горестное — пруд, мрачный дуб, под ним могила с деревянным крестом: «в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья», — записывает рассказчик. — «Теперь, может быть, они уже помирились!» — единственная и последняя его надежда.

<sup>43</sup> Этот фрагмент (с добавлением — «или где-нибудь близ Лизиной хижины») повторен еще раз в БЛ, неподалеку от процитированного.

<sup>44</sup> Есть соблазн допустить здесь отдаленное воспоминание о пруде у Симонова монастыря, выкопанном некогда Сергеем Радонежским. Во всяком случае такая ассоциация естественно возникает в этом «поле» и, к счастью, не требует ни проверки, ни доказательности: она

Введение Карамзиным пейзажа в русскую художественную прозу означало ответ на одно из главных требований времени, знак усвоения его важнейших уроков. В этом, в частности, также проявилась верность писателя духу времени, «историческому». Более того, Карамзин нашел то основание, которое позволило ему соотнести «пейзажно-природное» с движениями человеческой души<sup>45</sup>, создать «антропоцентричный» пейзаж, открыть и в природе, и в человеке новые глубины, взаимно высвечивающие друг друга. Это существенно изменило и человека, и природу, как она им воспринимается. Как удивительно непохожи портреты лиц, прошедших школу карамзинизма и, конечно, прежде всего БЛ, на портреты их отцов! Но Карамзин сделал и следующий шаг: он вплотную подвел русскую литературу (соответственно и читателя) к тому порогу, за которым пейзаж, ценный и сам по себе в его материальности, объектности и наглядности, обретает еще одно измерение — символическое. И это был уже прорыв в сферу высоких духовных ценностей, в пространство новых, наиболее глубоких и напряженных смыслов. Но все-таки это был лишь первый шаг в этом пространстве.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Погодин М. Никола́й Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии.* Ч. I. М., 1866, с. 205. ср. 203.
2. *Вайль Л., Генис А.* Родная речь. Наследство «Бедной Лизы». Карамзин.— Звезда, 1991, № 1, с. 201—204.
3. *Эйхенбаум Б. М.* Карамзин.— В кн.: *Эйхенбаум Б. М.* О прозе. Сборник статей. Л., 1969.
4. *Эйхенбаум Б. М.* Сквозь литературу. Л., 1924, с. 49.
5. *Карамзин Н. М.* Неизданные сочинения и переписка. Ч. 1. СПб., 1862.
6. Переписка Карамзина с Лафатером. СПб., 1893, с. 16—17, 22—23.
7. *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. I. М., 1989; Т. II—III. М., 1991.
8. *Эйхенбаум Б. М.* Черты летописного стиля в литературе XIX в.— ТОДРЛ, т. XIV. М.— Л., 1958, с. 545—550.
9. *Эйдельман Н. Я.* Последний летописец. М., 1983.
10. *Словарь русского языка XI—XVII вв.* Вып. 4. М., 1977, с. 156—158.
11. *Этимологический словарь славянских языков.* Вып. 7, М., 1980, с. 170—173.
12. *Глинка Ф. Н.* Письма к другу. М., 1990.
13. *Сочинения Карамзина.* Т. 6. М., 1814, с. 5.
14. Повести о начале Москвы. Исследование и подготовка текстов М. А. Салминой. М.— Л., 1964.
15. *Шамбинаго С. К.* Повести о начале Москвы.— ТОДРЛ, т. III. М.— Л., 1936.
16. *Тихомиров М. Н.* Древняя Москва (XII—XV вв.). М., 1947, с. 11—14.
17. *Тихомиров М. Н.* Сказания о начале Москвы.— Исторические записки, Т. 32. М., 1950.
18. *Пушкарев Л. Н.* Повести о зачале Москвы.— Материалы по истории. Т. II. М., 1955, с. 211—246.
19. *Топоров В. Н.* О следах эпической стихотворной традиции в старорусских повестях о начале Москвы.— Балто-славянские исследования 1982. М., 1983, с. 223—227.
20. Колин и Лиза. Сказка.— Вечер, 1772, № 1 (автор неизвестен).
21. *Приселков М. Д.* Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.— Л., 1950.
22. *Муравьева Л. Л.* Московское летописание второй половины XIV — начала XV в. М., 1991.
23. *Бураков Ю. Н.* Под сенью монастырей московских. М., 1991.
24. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия-чудотворца и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в XV в. Сообщил архимандрит Леснид.— В кн.: Памятники древней письменности и искусства. Т. 58. СПб., 1885 и

укладывается вне того пространства, которое определяется необходимостью выбора между «подлинным» или «неподлинным».

<sup>45</sup> Связь Карамзина с пейзажем осознавалась читателем с самого появления БЛ. Через семьдесят лет после нее даже недоброжелатели помнили об этом. В «Искре», направляемой лицами, оставившими себе капитал на антикарамзинизме и пасемшках над Фетом, в 1863 г. (№ 38) появилась статья «Разыскивающееся искусство» (обзор картинной выставки). Главный вывод из нее — «Кто может в настоящее время услаждаться чтением „Бедной Лизы“ Карамзина и стихотворений Фета, тот может совершенно безгрешно и целомудренно предаться содержанию пейзажиков».

(воспроизведено: Памятники литературы древней Руси. Кн. 4. XIV — середина XV в. М., 1981).

25. *Веселовский С. Б.* Синодик опальных царя Ивана Грозного как исторический источник. — В кн.: *Веселовский С. Б.* Исследование по истории опричнины. М., 1963, с. 341.

26. Москва. Путеводитель. М., 1915, с. 173.

27. *Чаянов А. В.* Венецианское зеркало или диковинные похождения стеклянного человека. Романтическая повесть, написанная ботаником X и на этот раз никем не иллюстрированная. Берлин, МСМХХП, с. 33—35.

28. *Чаянов А. В.* Венедиктов или достопамятные события жизни моей. М., 1922.

29. По Москве. Прогулки по Москве. М., 1917.

30. *Херасков М. М.* Кадм и Гармония. М., 1789.

31. *Эмин Ф.* Письма Эрнеста и Доравры. Ч. II—IV. СПб., 1766.

32. *Тургенев И. С.* Собрание сочинений. Т. 8. М., 1956, с. 25—26.



МАНАНЧИКОВА Н. П.

## КУПЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ДУБРОВНИКЕ XIV В.

В социально-экономических отношениях такого крупного торгового центра Средиземноморья, каким был в средние века Дубровник, купеческий капитал занимал огромное место.

До XIV в. Дубровник прошел уже значительный путь развития и имел достаточно сложную социально-политическую структуру. В течение XII — первой половины XIII в. в городе шло формирование новой системы самоуправления, которое в итоге привело к созданию коммунального строя с его основными органами — Большим и Малым советами, Сенатом. Из богатых слоев дубровницкого населения выделились несколько десятков влиятельных родов — ядро зарождающегося патрициата, который постепенно сосредоточивал в своих руках все нити городского управления. Главным источником обогащения дубровницкого патрициата в течение столетий оставалась торговля. Стремясь упрочить свои политические позиции в городе, патрициат уже в XIII в. энергично включился в торговлю и кредитно-денежные операции. Правительство патрицианской коммуны предпринимало огромные усилия для расширения торгово-политических связей Дубровника с другими средиземноморскими государствами.

Бурный рост международных связей Дубровника начался со второй половины XII в., когда сложились прочные, на договорной основе, контакты с правителями балканских земель и с рядом итальянских городов — Пизой, Равенной, Анконой, Бари, Монополи и др. [1, с. 17, 52].

Отделение патрициата от остальной массы городских жителей, превращение его в правящее сословие не повлекли за собой серьезных ограничений в торговле других слоев дубровницкого населения. Незнатные купцы, ремесленники, составившие средний слой горожан — пополанство — также активно вовлекались в сферу обмена: Дубровник, расположенный на основных путях торговли между балканскими землями и Италией, представлял неограниченные возможности для участия в торговом посредничестве не только своим знатым и незнатым купцам, но и иноземцам, проживавшим на его территории. И хотя в торговле Дубровника патрициат

---

Мананчикова Нелли Петровна — канд. ист. наук, доцент Воронежского государственного университета.

играл ведущую роль, в сфере широкого товарообмена возникали такие взаимоотношения, при которых определяющее значение имели финансовые возможности и деловые качества того или иного купца. Поэтому история дубровницкой торговли хранит много ярких примеров сотрудничества и соперничества крупных купцов, различных по социальной и национальной принадлежности [2].

В прямой зависимости от развития посреднической торговли и расширения дубровницкого внутреннего рынка находились процессы аккумуляции купеческого капитала. Заметный рост купеческого капитала с первых десятилетий XIV в. выдвигает на передний план общественной жизни и общественного производства Дубровника деятельность крупных торговцев, обладателей этого капитала.

Каково же конкретное воздействие формирующегося купеческого капитала на городское и пригородное товарное производство, местный рынок и всю экономику Дубровницкой коммуны? В работах советских историков рассматривались лишь отдельные аспекты этих проблем [1; 3—6]. Серьезные, основанные на архивных материалах работы югославских исследователей [7—15] внесли большой вклад в историографию средневекового Дубровника, его торговли и взаимосвязей с балканскими землями. Но проблема роли купеческого капитала в развитии средневекового Дубровника ими затрагивалась попутно, чаще в плане выявления фактов и способов закупки и реализации товаров различными купцами.

Чтобы попытаться ответить на поставленные вопросы и провести небольшое исследование, мы воспользуемся нотариальными актами XIV — начала XV в. Дубровницкого архива из серии *Diversa cancellariae* (далее — Div. сапс.). Тексты многих из них целиком приведены в ряде работ югославских историков [13; 16—19; 20—22].

Вопрос о влиянии купеческого капитала на товарное производство Дубровника тесно связан с проблемой уровня развития этого производства, с проблемой внутреннего — дубровницкого — и внешнего международного рынка. Внутренний рынок Дубровника являлся составной частью обширного средиземноморского рынка, имевшего многослойную структуру и объединявшего разнородные ареалы формирующихся внутренних рынков приморских областей и государств. В рыночные связи Средиземноморья вплеталась транзитная дальняя торговля между Западом и Востоком, которая не прерывалась в течение столетий.

В Дубровнике издавна существовали прочные рыночные связи между городским специализированным ремеслом и более примитивным производством его сельской округи. Известно, например, что далматинские города в XIII—XIV вв. были центрами переработки и отделки грубого домотканного сукна из ближайших деревень [3, с. 187-188]. Ряд городских ремесел — деревообделочные, строительные, кожевенные, судостроительные и другие — использовали необходимые материалы, доставляемые сельской округой. Внутренний рынок функционировал фактически на всей территории Дубровницкой коммуны; пункты торговли — мелкие лавки, склады, трактиры и таверны — существовали на островах и в прибрежных областях Дубровника. Но центром товарообмена оставалось городское торжище, т. е. главная площадь с торговыми рядами, с большим количеством лавок, складов, мастерских, коммунальных магазинов, расположенных вокруг площади и по ближайшей улице. Относительно своего центра рынок Дубровника мог быть назван городским; здесь также циркулировали товары города и округи, которые в равной степени могли обмениваться на продукты сельского хозяйства, привозимые из соседних балканских земель. Как самостоятельная категория внутренний рынок имел свои характерные черты: ассортимент его товаров отражал специфику экономического развития города и округи; сам рынок долгое время находился под воздействием регламентирующих

установок Дубровницкой коммуны, олицетворявшей политическое господство патрицианского города над деревней, и, что для нас кажется особенно важным, оставался местом, где простые производители в XI—XIII вв. (сапожники, бондари, виноделы, меховщики, рыбаки и др.) сами, без посредников, продавали свои товары [15, с. 99—203]. К сожалению, внутренний рынок Дубровника как своеобразная система социальных отношений еще недостаточно изучен.

Значение купеческого капитала как фактора, стимулирующего торговлю, его возрастающее влияние на товарное производство Дубровника, на социальную структуру внутреннего рынка легче проследить на примерах производства и продажи товаров массового потребления. Такими товарами в Дубровнике в течение столетий были продукты питания, прежде всего вино и масло.

Виноград был основной земледельческой культурой в Далмации. И вино в Дубровнике было почти единственным природным богатством, которым одаривали трудолюбивых земледельцев скудные прибрежные почвы. Виноградники принадлежали простым горожанам, патрициям, монастырям, церкви, жителям округи. Все виноградарские хозяйства носили товарный характер, а вино было предметом широкой торговли. Собственники и арендаторы виноградников большую часть полученного вина продавали, могли расплачиваться вином с кредиторами, отдавать его в залог. Коммуна еще в предшествующие века взяла в свои руки организацию торговли вином. Она заботилась о бесперебойном снабжении вином всего населения Дубровника, о рынках сбыта вина для городских и сельских виноградарей, о поддержании установленных ею цен на продажу вина. Различные виды пошлин на продаваемое оптом и в розницу вино по всей территории коммуны были важным источником доходов Дубровника [23, с. 102—104].

Борьба производителей вина из различных социальных слоев за рынок сбыта началась еще в XIII в. и продолжалась в XIV и XV вв. Позиция коммуны отразилась в Статуте 1272 г., реформациях и постановлениях о Стоне и Пелешаце. В них запрещалось ввозить вино на территорию Дубровницкой коммуны даже с ближайших островов, принадлежащих другим государствам, — Корчулы и Виса. Сам город Дубровник был закрыт для ввоза вина с собственных островов — Млета, Шипана, Лопуда, Колочепа, жители каждого из них могли продавать вино только на своем острове. Собственники виноградников полуострова Пелешаца (ими были главным образом патрицианские семьи) также предписывалось реализовывать вино на месте или вывозить его в соседние земли Сербии, Боснии и, в частности, на известный в средние века рынок Дриева, расположенный в устье реки Неретвы [14, с. 56].

Запреты коммуны были продиктованы стремлением богатых горожан ослабить конкуренцию и сделать город рынком сбыта для собственного вина. Политика патрицианской коммуны, продиктованная узостью внутреннего рынка, олицетворяла феодальные начала в системе рыночных отношений. Ее постановления сковывали деятельность виноградарей, мешали естественному развитию товарообмена и в итоге затормаживали уровень производства вина. Но этой политике коммуны в XIV в. начинает противостоять общая тенденция ускоренного развития товарного производства в Дубровнике. И эта тенденция постепенно набирала силу благодаря активизации деятельности купеческого капитала и росту взаимосвязей внутреннего рынка с внешним.

В Дубровнике рано начала практиковаться скупка вина у мелких производителей купцами различного социального происхождения. Предоставляя производителям небольшие кредиты, купцы вынуждали их выплачивать свои долги чаще всего вином будущего урожая. Договоры о кредите под будущее вино сохранились в нотариальных актах от начала XIV в.: в 1314

г. Лука с Лопуда получил от Богдана де Склавы 4 перпера и обязался отдать ему 16 ведер вина (около 320 литров) будущего урожая. В 20-е годы XIV в. активно занимался скупкой вина проживавший в Дубровнике итальянец Андрей дель Фано. Телько за март и начало апреля 1320 г., согласно нотариальным актам, дель Фано скупил вино будущего урожая на островах Шипане, Лопуде, Колочепе и в одной из областей Астарей, Жупе, в количестве от 130 до 140 ведер, т. е. свыше 2600 литров (Div. сапс. V, 55'; VI, 114' [17, с. 50]). Заинтересованность дель Фано в подобного рода деятельности заставляет предположить, что она приносила немалый доход. Как выяснила Д. Динич-Кнежевич, вино будущего урожая было самым дешевым: зимой и ранней весной на 1 перпер можно было купить от 3 до 4,5 ведер вина будущего урожая, а в сентябре, во время сбора винограда — только 1,5—2 ведра [17, с. 52—58].

Скупкой вина в сельской округе Дубровника занимались многие патриции — Юний Цриевиц, Климент Гледич, Марин Мединич, Яков Гундулич, Андрей Ризич и др. С 40-х по 70-е годы XIV в. скупала вино у мелких виноградарей Слава, дочь Воле Волчича, в 80—90-е годы видное место в торговле вином принадлежало Маре Бенешич, вдове Марина Бенешича. Слава Волчич не пренебрегала скупкой небольших количеств вина по окрестностям и островам Дубровника; задаток, который получали от нее виноградари, колебался от 5 до 33 перперов. Например, в 1347 г. Раден Богдашич с острова Шипана взял у Славы Волчич задаток — 33 перпера — и обязался отдать ей все вино своих виноградников по цене, которая будет во время сбора урожая (Div. сапс. XIV, 39, 44, 70', 85 [17, с. 53]).

Как видим, мелкие виноградари должны были продавать скупщикам все вино своих виноградников; существовали виноградари, которые по несколько лет продавали вино одним и тем же людям, т. е. торговцы-скупщики с середины XIV в. охотно вкладывали деньги в производство вина.

Судя по распространенности подобных закупок вина, их уже нельзя назвать случайным явлением. Купеческий капитал Дубровника начинает подчинять себе мелкотоварное хозяйство простых виноградарей, отрезая их от рынков сбыта. Такое подчинение облегчалось своекорыстной внутренней политикой патрициата. Из-за ограничений продажи вина многим простым виноградарям было проще иметь дело со скупщиками, чем вести самостоятельную мелкую торговлю. Скупщики постепенно опутывали мелких производителей сетью долгов, ставя их в зависимое положение.

Для вывоза в соседние земли Балканского полуострова дубровницкие торговцы закупали вино большими партиями у крупных землевладельцев, собственников многих виноградников — патрициев, монастырей, богатых пополанов. В такие закупки вкладывались значительные средства: в 1382 г. прокуратор Деши, вдовы Грубы Менчетича, продал Теодору Проданчичу все вино, которое имел в Стоне и Дубровнике, за 500 перперов. И подобных договоров сохранилось немало (Div. сапс. XXV, 161', 25 [17, с. 54]).

Рынки сбыта вина в соседних Боснии и Сербии были достаточно емкими и удовлетворить массовый спрос на них могла крупная торговля, способная организовать оптовую закупку и массовый сбыт вина.

Во второй половине XIV в. деятельность дубровчан в области внешней торговли вином приобрела размах. Они начинают вести посредническую торговлю, закупая вино в Южной Италии, где крупным рынком вина был Ортон, и сбывая его на Неретве, в Драче, в св. Срдже. На коммуникации Италии — восточное побережье Адриатики дубровчане вступали в контакты с итальянскими купцами. Договоры о совместной деятельности отличались конкретностью: в 1377 г. Матараций Анжело из Ортона в обществе с Франциском де Сарте из Дубровника нанял судно Мароты Димковича с Колочепе, которое с 80 сосудами для вина должно было отправиться из



Дубровника в Ортон; на погрузку товара отводилось 10 дней, а затем судно должно было идти в Драч и там разгрузить вино за 4 дня [17, с. 67—69].

Широкая международная торговля вином, которую питали главным образом мелкие виноградарские хозяйства Южной Италии, Далмации и других областей, свидетельствовала о том, что производство вина на побережье Адриатического моря достигло значительных успехов.

На внутреннем рынке Дубровника розничная продажа вина в конце XIII — начале XIV в. осуществлялась самими мелкими производителями или мелкими торговцами главным образом через трактиры, расположенные в самом городе и его округе. Трактиры могли принадлежать коммуне, монастырям и частным лицам. Скупщики вина нередко брали в свои руки и розничную торговлю как в городе, так и на сельской территории Дубровника. В этом отношении интересна деятельность Мары Бенешич, которая закупала большое количество вина на островах, а затем продавала его в розницу через свои трактиры в Дубровнике и Стоне [16, с. 36—37].

В трактирах скупщиков вина торговали в основном женщины-трактирщицы: служанки, рабыни, наемные работницы. Служанки и рабыни за свой труд получали только питание, без какого-либо денежного вознаграждения. Наемные работницы, кроме питания, получали небольшую плату. До середины XIV в. она равнялась 6 фолярам за проданное ведро вина. Превышение установленной оплаты наемного труда, как это случилось во время эпидемии чумы 1348/49 гг., запрещалось коммунной, стоявшей на страже интересов патрициата и богатых горожан. Коммуна контролировала цены вина в трактирах. И хотя максимум цен на розничное вино существовал, разница между закупочной и продажной ценами оставалась существенной, иногда достигая 100% [17, с. 55—58].

Другой распространенной культурой в Далмации были оливы, и производство масла являлось важной отраслью экономики Дубровника. В XIII — начале XIV в. Дубровнику хватало своего оливкового масла для удовлетворения потребностей всего населения. Продавцами масла выступали мелкие производители-земледельцы. В течение XIV в., когда население Дубровника увеличилось, спрос на продовольственные товары, в том числе и на масло, значительно возрос. Дубровнические и иноземные купцы все чаще поставляли в Дубровник масло из Южной Италии, в основном из Апулии, из Далмации и с прибрежных земель южной оконечности Балканского полуострова. Правительство заботилось об обеспечении города и округа оливковым маслом, о поддержании на него доступной для простого населения цены в розничной продаже. Если масла в Дубровнике оказывалось в избытке, коммуна разрешала его вывозить в Боснию, Сербию, Болгарию, а иногда в Венгрию и Венецию. Если город испытывал недостаток масла, что бывало в неурожайные годы, правительство ограничивало его цену установлением максимума и запрещало вывоз масла из Дубровника.

К этому времени оливковое масло прочно входит в число предметов широкого обмена на всех средиземноморских рынках. Интересно отметить, что, несмотря на неуклонное стремление Дубровницкой коммуны регулировать цены на своей территории, влияние конъюнктуры внешнего рынка в Дубровнике ощущалось все сильнее. По подсчетам Д. Динич-Кнежевич, на внешнем рынке, в основном на побережье Адриатического моря, цены на масло в течение XIV в. медленно росли и во второй половине этого столетия были в 1,5-2 раза выше, чем в первой. Князь и Малый совет Дубровника вынуждены были в 90-е годы XIV в. поднять почти в 1,5 раза цены на масло и в Дубровнике. Купцы-оптовики, торговые общества, которые занимались торговлей маслом, имели налаженные связи и сеть посредников на Зетском побережье, в Южной Италии и в самом Дубровнике [18, с. 300—306].

Как же реализовывалось иноземное масло на дубровницком рынке? Купцы, среди которых было много пополанов и иноземцев, как правило, имели свои собственные склады и лавки или арендовали их у других лиц. Для продажи масла в розницу они использовали своих слуг и наемных работников. Эта практика характерна для всего XIV в. Например, в 1320 г. Георгий де Кердоносо отдает для продажи в своей лавке некоему Михе один милиарий масла и 400 либров сыра<sup>1</sup> при условии, что Михе во всем будет учитывать интересы хозяина. Расчет за проданное масло должен производиться каждые 8 дней. Георгий обязывался предоставить Михе питание и оплату — 5 динаров в месяц. В 80-х годах Радовац Братанович, торговец маслом, входивший во многие торговые общества, имел в Дубровнике лавку, где его слуга продавал масло в розницу. Кроме того, Радовац посылал своих людей для продажи масла в Стон, где цены на него были выше (Div. сапс. IV, 15'; XXVI, 157' [18, s. 303—306]). Существовали и другие способы реализации масла на городском рынке: оно могло быть передано в кредит мелкому торговцу, владельцу лавки. В 1335 г. Куделин, лавочник, сын носильщика Градеши, взял от Стефана Чаулечо 0,5 милиария масла по цене 55 перперов за милиарий для продажи в своей лавке. Расчет производился после продажи товара. Некоторые собственники лавок сами брали в помощники наемных работников: в 1356 г. Богдаша Бранотин взял носильщика Путника в работники за плату 16 перперов в год отмерять и продавать масло. Отношения усложнялись, когда между купцом и непосредственным продавцом-лавочником возникало еще одно звено — перекупщик средней руки. В Дубровнике в 1380-е годы перекупкой масла занимался аптекарь Джанино. Закупая масло у дубровницких и иностранных торговцев, он продавал его сам и передавал для продажи другим торговцам [18, s. 304].

Таким образом, крупные торговцы, ведущие посредническую торговлю товарами массового потребления — вином, оливковым маслом, организовывали розничную продажу своих товаров на внутреннем рынке Дубровника путем привлечения наемной рабочей силы. Фигура наемного работника, поденщика была обычной на внутреннем рынке и в предшествующие столетия — о грузчиках и носильщиках упоминает Статут 1272 г. Но дальнейшее развитие товарного производства, рост внешней торговли, расширение рынка сбыта приводят к важным сдвигам в структуре внутреннего рынка. Крупные торговцы все больше подчиняют себе розничную торговлю в Дубровнике: их слуги, наемные работники, а также перекупщики начинают вытеснять с рынка мелких производителей и торговцев; число наемных работников постепенно увеличивается.

В XIV в. купеческий капитал делает инвестиции и в другие отрасли хозяйства Дубровника: мельничный промысел, солеварение, рыболовство, коралловый промысел, судостроение, заготовку стройматериалов, скотоводство и др. Сказывалось ли проникновение капитала на функционировании мелкотоварного производства, его социальной структуре?

Мукомольное дело занимало видное место в жизни Дубровника, поскольку хлеб, необходимый для пропитания его населения, закупался в зерне (пшеница, ячмень, просо). Коммуна поощряла строительство водяных мельниц, и в XIV в. большое количество их было построено в дубровницкой Жупе. Мельницы находились в собственности у коммуны, монастырей, патрициев и простых горожан среднего достатка. Последние, как правило, самостоятельно использовали их, богатые же собственники сдавали в аренду. Но постепенно мукомольный промысел переходит в руки крупных купцов. В первой половине XIV в. собственниками нескольких мельниц были известные купцы — патриции Юний и Сима Менчетичи, Мартол Тудишевич.

<sup>1</sup> Милиарий равнялся 358 кг, либра — 358 г.

Эти патриции активно скупали мельницы у обедневших владельцев и вскоре для таких предпринимателей, как Мартол Тудишевич и его сын Гиве мукомольное дело стало важным видом занятий. Отец и сын вели крупную торговлю хлебом, имели свои мелкие суда, которые обычно и доставляли зерно на помол к их мельницам. В середине XIV в. Гиве Тудишевич держал у себя на службе нескольких мельников, а доход от мукомольного дела вкладывал в строительство новых мельниц [2, с. 344].

К этому времени мельницы применяются и в других видах производства — для отделки и промывки шерстяных тканей, для раздувания кузнечных мехов, а в горнорудных областях соседних земель — для обработки и переплавки руды. Строительство и использование мельниц в различных ремеслах и промыслах как в Дубровнике, так и в соседних балканских землях получает широкое распространение прежде всего благодаря инвестициям крупного торгового капитала. Прибыль от эксплуатации мельниц шла в руки их собственников — крупных торговцев, среди которых имелось немало лиц пополанского происхождения.

С незапамятных времен в Дубровнике существовал и соляной промысел. В XIV в., еще до приобретения Стона и Пелешаца, выпарка морской соли производилась в разных местах Дубровницкой коммуны — в заливе Гружа, Затоне, Риске, на островах Шипане и Млете. Салины — места выпарки соли — принадлежали коммуне и частным лицам. Собственниками салин были, главным образом, патриции, владельцы земель, на которых они располагались. В середине XIV в. салины в Груже принадлежали Боне Гундуличу, в Затоне — Луцию Лукаревичу. Об организации труда на салинах в источниках содержатся крайне скудные сведения, но и они позволяют предположить, что здесь применялась наемная рабочая сила. Сохранился договор Луция Лукаревича от 1350 г. с наемными рабочими: сын Богдана де Ядра вместе с Юрко де Паго, который был его подручным, обещали работать на салинах Лукаревича в Затоне весь год. Рабочие должны были получать одну треть от всей добытой соли и кроме того 11 перперов от каждого центенария соли в доле хозяина [20, с. 149—152].

После присоединения Стона и Пелешаца (1333) салины Стона — самые удобные и большие по площади — перешли в собственность коммуны. Однако для их обновления и расширения требовались большие капиталовложения. Коммуна была вынуждена сдавать их в аренду крупным дубровницким купцам. В первой половине XIV в. известными арендаторами салин были Растичи, которые вкладывали в добычу соли свои средства и нанимали работников [2, с. 387]; во второй половине XIV в. среди арендаторов салин встречаются имена патрициев Марина Бучинича, Марина Менчетича, Гиве Волчича, Марина Гундулича и др. Купцы-арендаторы обычно объединялись в сообщества по 4—5 человек и заключали с коммуной арендный договор на 5 лет, в течение которых они брали на себя организацию работ на салинах. Только благодаря купеческим вкладам, которые исчислялись десятками тысяч перперов, салины Стона постоянно функционировали и расширялись. Рост производства соли привел к увеличению арендной платы за стонские салины. Если в 1346 г. коммуна взимала 1600 перперов в год, то в 1357 г. — уже 3500 перперов; в 1371 г. арендатор обязан был отдать коммуне за год 17 тыс. модиев соли<sup>2</sup>, а в 1376 г. — 20 тыс. [24, с. 102—103].

Добыча соли была доходным, но сопряженным с большим риском промыслом, иногда арендаторы несли большие убытки при эксплуатации салин, на которых использовалась в основном неквалифицированная рабочая сила из местных жителей. Рабочие нанимались чаще всего на сезон для сбора, перевозки и погрузки соли в коммунальные склады. Они получали плату

<sup>2</sup>Модий равнялся 43 кг.

за сдельный труд солью [25, с. 47—48], которую можно было продать на дубровницком рынке влахам и другим жителям соседних земель.

Крупные вклады торговцы делали и в самый древний далматинский промысел — рыболовство. Купцы становились собственниками рыбацких барок, сетей и другого оснащения, которое сдавались в аренду рыбакам. В качестве примера можно привести деятельность патриция Андреаса Бинчулича. В 70-е годы XIV в. Бинчулич сдавал в аренду рыбацкие барки, сети — иногда рыбакам, иногда посредникам, которые уже от себя брали рыбаков на службу за месячную плату [2, с. 134].

Особенно часто во второй половине XIV в. капиталовложения делались в добычу кораллов. Кораллы стали важной статьей дубровницкого вывоза на внешние рынки. Вкладчиками капитала выступали знатные дубровницкие патриции — члены Сената (например, Грубе Раньина) и известные торговцы свинцом, тканями, кожами — такие как Марий Будачич, Марин Гундулич, Андреас Волчич. Для Волчича торговля кораллами была основным занятием, и он большую часть своих средств вкладывал в их добычу. Договоры Волчича с ловцами кораллов из Прованса, которые в 80-е годы XIV в. появились в Дубровнике, являлись обычными для того времени и отразили характер складывающихся отношений в мелких промыслах между представителями торгового капитала и промысловиками. В договорах 1383 г. ловцы из Прованса обязывались добывать кораллы для Волчича, который предоставлял им барку, средства для ее оснащения и деньги для найма экипажа судна. Иногда ловцы использовали и свое снаряжение. Добыча делилась соответственно вложенному капиталу с учетом затраченного труда. Ловцы после раздела дохода свою долю, как правило, сразу же продавали Волчичу [2, с. 448]. В 1399 г. некий Анджело обязался работать на него в течение года — добывать и очищать кораллы, чтобы подготовить их для вывоза в заморские страны. Волчич давал ему две ладьи с необходимым снаряжением и платил за работу по 3 дуката в месяц. Все доходы от добычи кораллов делились пополам между Анджело и Волчичем (Div. сапс. XXXII [22, s. 414]).

Важное место в производственной сфере города и округа занимали ремесла, связанные с кораблестроением, городским строительством, заготовкой древесины, деревообработкой и др. Состояние этого комплекса ремесел отражало состояние экономики Дубровника, и все изменения в социальной структуре этих ремесел могут служить одним из показателей динамики социальных отношений в коммуне.

Судостроение требовало больших капиталовложений. В XIV в. корабли и мелкие суда строились в городском порту, в Стоне, на островах Лопуде, Шипане, Колочепе. Инициаторами и организаторами строительства кораблей были коммуна и богатые торговцы, способные обеспечить необходимые средства. В первой половине XIV в. в качестве судостроителей и вкладчиков капитала в кораблестроение выступали представители известных патрицианских родов Бундичей, Мартинушичей, Гундуличей, Гамбичей, Држичей и др. Они заключали соглашение с ремесленниками-кораблестроителями разных специальностей. Ремесленники иногда объединялись в артели, иногда в договорах выступали как наемники-одиночки, получавшие скромную плату — 3,5 динара и еще несколько грошей на пропитание. Опытные мастера получали больше — до 13 перперов в месяц (т. е. около 6 динаров в день) [20, s. 138]. Здесь, как и в других отраслях производства, складывались отношения найма.

Строительству кораблей предшествовала трудоемкая работа по заготовке материала — древесины дуба и вяза. Лес доставлялся с устьев рек Бояны, Дрима, Неретвы, Шкумбы, из гаваней Сеня, Драча, Льеша, Котора и с островов Корчулы, Млета, Шипана, Лопуда. От первой половины XIV в. сохранились договоры о рубке и купле-продаже строительного леса. По

характеру и структуре договоры однотипны. Так, в феврале 1325 г. Николица Мартинушич заключил соглашение с Милдругом Милошевичем и Прибоем Добротичем о том, что они отправятся в устье Бояны и будут там рубить лес до конца мая за месячную плату 4,5 перпера Милдругу, старшему из рубщиков, и 3,5 перпера Прибою. Кроме этого, наниматель обязывался обеспечить дровосеков питанием. В феврале 1334 г. плотник Грга со своим сыном Марином обязался рубить лес в Драче для Савина Бунича за месячную плату 18 перперов. Иногда сами корабельные плотники нанимали простых работников, которые вместе с ними отправлялись на место рубки леса и работали под их надзором за дневную плату 3,5 динара [19, с. 13—16].

После Задарского мира 1358 г. кораблестроение в Дубровнике значительно оживилось [21, с. 133—140]. Вкладчиками капитала в судостроение нередко являлись купцы, ведущие дальнюю морскую торговлю; в 60—80-е годы XIV в. среди самых крупных судовладельцев и организаторов кораблестроения были патриции Матий Жургович — командующий дубровническим флотом, Павел Бараба, Марин Юний Менчетич, его сыновья Гиве и Власий, продолжившие дело отца, Николо Менчетич, Марин Крусич, братья Лука и Марин Буничи и др. [2, с. 339—342]. Но большинство судовладельцев было из рядов среднего слоя купечества, т. е. незнатных горожан и зажиточных жителей сельской округи. Их объединенные капиталы являлись важнейшим источником финансирования дубровнического кораблестроения в XIV — начале XV в. [9, с. 521].

Увеличивается количество договоров о заготовке древесины, среди них встречаются договоры самих наемных работников (плотников, рубщиков леса) о создании на определенный срок товарищества — своеобразной артели для совместной работы: в январе 1371 г. двое работников заключили между собой договор на один год о совместной рубке леса на реке Дрим. В нем предусматривалось, что даже в случае болезни одного из работников каждый получит свою долю оплаты. В августе 1372 г. четверо плотников создали общество на один год, чтобы идти в устье Бояны и рубить лес [19, с. 16]. Интересно отметить, что некоторые товарищества рубщиков леса могли действовать самостоятельно, т. е. рубить лес, а заготовленный материал вывозить в Дубровник и продавать. Но несравненно чаще товарищества вступали в соглашение с другими лицами, как правило, известными торговцами, финансировавшими их труд по заготовке леса. Договоры с заказчиками иногда усложнялись, но сущность отношений не менялась: например, в феврале 1386 г. шестеро дубровчан, рубщиков леса, создают общество с Видошем, сыном Богдана с Корчулы, чтобы с ним на Корчуле рубить лес и распиливать его на доски. От заготовленного материала  $\frac{1}{10}$  часть должна была быть дана Корчуланской общине, от оставшегося  $\frac{1}{4}$  часть шла Видошу, а  $\frac{3}{4}$  части — рубщикам [19, с. 19]. Как видим, с ростом кораблестроения и началом общего подъема экономики в Дубровнике использование наемной рабочей силы и в этой отрасли производства приобрело значительные размеры.

Наем работников широко применялся в сфере торговли и городского обслуживания. Развитие городского рынка, торговли повлекло за собой активизацию мореходства и морского извоза. Большое количество мелких судов, барок перебрасывали из одной области дубровнической территории в другую съестные припасы и другие товары повседневного спроса, доставляли необходимые продукты в Дубровник из соседних гаваней адриатического побережья и т. д. Нет сомнения, что существовал слой жителей города и округи, особенно островов, которые занимались извозным промыслом внутри дубровнической территории и вне ее. Отношения, которые складывались между владельцем барки и собственником товара, были отношениями найма. Аренда купцами больших судов у одного или нескольких судовладельцев была весьма распространенным явлением в Далмации и всей Адриатике.

Экипаж судна, которое сдавалось в аренду, выступал как коллектив мореходов, нанятых на определенную службу [4, с. 54].

Из приведенных примеров можно заключить, что отношения мелких производителей и служащих с вкладчиками капитала в различных отраслях дубровницкой экономики нередко выходили за рамки социальных отношений простого товарного производства: возникали такие условия производства, которые разрушали самостоятельность мелкого производителя, а иногда и низводили его до положения наемного, не связанного узами собственности. Эти взаимоотношения порождали особую социальную среду, в которой возрастало количество наемных работников и которую можно рассматривать как одну из предпосылок зарождения раннего капитализма в Дубровнике.

Наиболее отчетливо проявился процесс разложения мелкотоварного производства, вплотную приводившего к зарождению элементов качественно новых производственных отношений, в текстильном ремесле Дубровника во второй половине XIV в. Население островов Шипана, Колочена, Ластова, ближней и дальней округи Дубровника издавна производило грубошерстные сукна — рашу, склавину, а также льняные и хлопчатобумажные полотна. Горожане рано занялись скупкой этих тканей у разрозненных сельских ремесленников для доработки их в городских мастерских. К концу XIV — началу XV в. скупка тканей совершалась более регулярно, а торговцы, собственники лавок в Дубровнике, все чаще становились раздатчиками шерсти и льна, подчиняя себе труд сельских производителей. Взаимоотношения между заказчиком и простыми производителями сукна складывались естественно: например, Радовац Братанович, имевший лавки в городе, в 1382 г. два раза передавал трем жителям острова Ластова черную шерсть общим весом 340 либров. Те должны были обработать шерсть и изготовить рашу. Половину полученного сукна они могли взять себе, половину отдать заказчику. В 1398 г. Андрей Русинов отдал 200 либров белой и черной шерсти двум ластовчанам и 200 либров двум жителям полуострова Пелешаца с одним и тем же условием: половина сотканной ткани должна принадлежать ему, а половина изготовителям [13, с. 15]. То есть, сельские ремесленники соглашались работать на одного заказчика, который, как правило, был для них и раздатчиком сырья. В приведенных договорах нет еще данных для однозначного заключения, что самостоятельность сельских ремесленников ограничивалась и что их деятельность ставилась под контроль раздатчика шерсти. Но процесс проникновения купеческого капитала в сельское ремесло в форме раздачи сырья продолжался, и в источниках отразилось его дальнейшее развитие. В конце XIV — начале XV в. торговец сукном и дубровницкий нотариус Руско, сын магистра Христофера, занимался раздачей сырья в более крупных масштабах. В 1398 г. он за короткий срок — с мая по июль — вовлек в производство сукна-раши 25 человек: 12 мужчин и 11 женщин с острова Шипана, одного мужчину с острова Колочена и одного дубровницкого торговца. Руско давал им всем 2580 либров шерсти, чтобы они до Рождества переработали ее в сукно. Половина полученного сукна должна была принадлежать Руску, половина в качестве оплаты оставалась сельским ремесленникам. И позже, в 1402 г., на Руско работали 25 ремесленников с острова Шипана (16 мужчин и 9 женщин), которым он дал 2870 либров шерсти на обычных условиях (Div. sanc. XXXII, 143, 148, 154, 158'; XXXIV, 117' [13, с. 16]).

Таким образом, Руско в течение нескольких лет занимался раздачей сырья и скупкой сукна у жителей острова Шипана, ведя дело последовательно и с размахом. Можно предположить, что он был связан с одними и теми же ремесленниками и что для них он оставался в эти годы единственным постоянным скупщиком изделий. Нет сомнений, что в случае с Руско мы видим первые шаги торгового капитала в сторону создания

новой организации труда в сельском ремесле, в сторону перестройки сельского домашнего производства на началах простой кооперации.

Появление таких предприимчивых торговцев, сумевших организовать и использовать в течение продолжительного времени труд многих ремесленников, характеризовало самый ранний этап зарождения капиталистических отношений, которые проступали еще в эмбриональном, зачаточном состоянии. Дальнейшее обогащение скупщиков, подобных нотариусу Руско, вело к формированию из них предпринимателей буржуазного типа. Их деятельность разрушала самостоятельность простых тружеников, которые отрезались от рынка сырья и рынка сбыта и постепенно превращались в зависимых производителей, положение которых мало чем отличалось от положения наемных рабочих.

Итак, приведенный материал позволяет нам в общих чертах ответить на вопрос о характере конкретного воздействия купеческого капитала на городское и пригородное товарное производство, местный рынок и экономику Дубровника. Купеческий капитал не только способствовал росту крупной торговли, но и проникал почти во все отрасли городского и пригородного производства — в виноделие и маслоделие, мукомольный промысел, рыболовство и добычу кораллов, солеварение, кораблестроение и заготовку леса, обработку шерсти и сукноделие. Воздействие купеческого капитала на простое товарное производство не было однозначным. С одной стороны, инвестиции капитала являлись необходимой материальной базой дальнейшего развития производства: солеварение, кораблестроение, городское строительство и строительство мельниц не могли осуществляться без крупных денежных вкладов со стороны предпринимателей-торговцев. Такие отрасли городской и сельской экономики, как виноградарство, маслоделие, сукноделие, под воздействием купеческого капитала перерастали рамки домашнего производства и начинали поставлять товары на широкий рынок. С другой стороны, проникновение купеческого капитала деформировало простое товарное производство, уничтожало самостоятельность мелких производителей, которые отрезались от рынка сырья и сбыта, а часть из них превращалась в наемных работников.

Местный рынок, с трудом преодолевая мелочную регламентацию патрицианской коммуны, под воздействием купеческого капитала активно включался в международные рыночные связи. Социальная структура его постепенно менялась: все большее значение приобретали богатые торговцы знатного и незнатного происхождения, наметилась тенденция вытеснения с рынка мелких торговцев и мелких производителей.

Но в том и другом случаях воздействие купеческого капитала на товарное производство было революционизирующим: купеческий капитал, активизируя развитие товарного производства, используя его как источник своих доходов, в то же время способствовал подъему дубровницкой экономики. Проникновение купеческого капитала разрушало простое товарное производство, увеличивало слой наемных работников, создавая тем самым предпосылки зарождения раннекапиталистических отношений.

Есть основания считать, что элементы раннекапиталистических отношений появились в Дубровнике в форме новой организации труда на началах объединения ремесленников в простую кооперацию в таких отраслях производства, как обработка шерсти, сукноделие в конце XIV — начале XV в. Дальнейшее зарождение и развитие первой сукнодельческой мануфактуры в 20-е и последующие годы XV в. [5, с. 51—65] происходило уже на подготовленной почве.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Фрейденберг М. М.* Дубровник и Османская империя. М., 1984.
2. *Манкен И.* Дубровачки патрицијат у XIV веку. Београд, 1960.
3. *Фрейденберг М. М.* Деревня и городская жизнь в Далмации XIII—XV вв. Калинин, 1972.
4. *Мананчикова П. П.* Социальная структура морской торговли в XIII — начале XIV в. по данным морского права Дубровника и Задара.— Советское славяноведение, 1978, № 6.
5. *Мананчикова Н. П.* К вопросу о ранней мануфактуре в Дубровнике XV века.— Советское славяноведение, 1980, № 6.
6. *Мананчикова Н. П.* Торговля и купеческий капитал в Дубровнике XIV в.— В кн.: Вопросы истории славян. Воронеж, 1989.
7. *Динић М.* За историју рударства у средњовековној Србији и Босни. Т. 1, 2. Београд, 1955—1962.
8. *Божић И.* Економски и друштвени развојак Дубровника у XIV—XV веку.— В кн.: Историски гласник. Београд, 1949.
9. *Тодић Й.* Привреда Дубровника и српске земље у првој половини XV в.— В кн.: Зборник филозофског факултета Београдског универзитета. Књ. X—1. Београд, 1968.
10. *Бирковић С.* Историја средњовековне босанске државе. Београд, 1964.
11. *Крекић Б.* Дубровник и Левант (1280—1460). Београд, 1956.
12. *Ковачевић-Кojiћ Д.* Градска насеља средњовековне Босанске државе. Сарајево, 1978.
13. *Динић-Кнежевић Д.* Тканице у привреди средњовековног Дубровника. Београд, 1982.
14. *Тошић Б.* Трг Дриева у средњем вијеку. Сарајево, 1987.
15. *Луčić Ј.* Obrtni i usluge u Dubrovniku do početku XIV stoljeća. Zagreb, 1979.
16. *Динић-Кнежевић Д.* Положај жена у Дубровнику у XIII и XIV веку. Београд, 1984.
17. *Динић-Кнежевић Д.* Trgovina vinom u Dubrovniku u XIV veku.— Годишњак филозофског факултета у Новом Саду. Нови Сад, 1966, књ. IX.
18. *Динић-Кнежевић Д.* Trgovina uljem u Dubrovniku u XIV veku.— In: Historijski zbornik. God. XXIII—XXIV. Zagreb, 1970—1971.
19. *Динић-Кнежевић Д.* Trgovina drvatom u Dubrovniku u XIV veku.— Годишњак филозофског факултета у Новом Саду. Нови Сад, 1971, књ. XIV—1.
20. *Луčić Ј.* Grane privrede u Dubrovačkoj Astaraji (do u polovinu XIV st.).— Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, X—XI. Dubrovnik, 1966.
21. *Луčić Ј.* Prilog brodogradnji u Dubrovniku u drugoj polovini XIV stoljeća.— In: Historijski zbornik. Br. 1—4. Zagreb, 1951.
22. *Тодић Ј.* Јевреји у Дубровнику до половине XVII столјећа. Сарајево, 1937.
23. *Војновић К.* Каринарски систем Дубровачке републике.— In: Rad Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 129. Zagreb, 1896.
24. *Гецић М.* Дубровачка трговина сољу у XIV веку. Београд, 1955.
25. *Глушчић П.* Из прошлости града Стона XIV—XIX вијека. Београд, 1961.





КОРОВИЦЫНА Н. В.

## РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИЛИ ЧЕШСКОЕ ОБЩЕСТВО «НА ПУТИ К СОЦИАЛИЗМУ»

Годы первой пятилетки (1949—1953) в Чехословакии стали временем коренного поворота в ее внутриэкономической политике и характере участия в международном разделении труда. Уже к началу 50-х годов структура национальной экономики, как и вся система общественных отношений, претерпела глубокие изменения. Стратегия экономического развития страны после принятия в 1949 г. генеральной линии на «строительство социализма» оказалась полностью подчинена нуждам отдельных отраслей промышленности.

Индустриальный потенциал Чешских земель, перевод которого на военные рельсы начался еще в условиях их оккупации в годы второй мировой войны, представлял особенно большой интерес для формирующегося «социалистического лагеря». В конце 1949 г. Информбюро коммунистических и рабочих партий высказало обеспокоенность началом, как считалось, открытой подготовки Западом войны против стран этого лагеря. Учитывая, что большинство из них принадлежало к числу полуаграрных и аграрных, промышленно развитой ЧСР отводилась большая роль в повышении их обороноспособности, в переходе к их полной экономической независимости от западных стран и политике самообеспечения. Поэтому вся система внешнеэкономических связей Чехословакии была тогда переориентирована, а планы ее экономического развития радикально изменены. Страна превращалась в «кузницу» «социалистического содружества». Период 1948—1953 г. оказался переломным в современной истории Чехословакии, предопределил характер и направленность ее развития, судьбы ее народов на последующие четыре десятилетия.

Пленум ЦК КПЧ в феврале 1951 г. принял решение о частичном пересмотре плана первой пятилетки в сторону повышения его заданий, приоритетности развития тяжелой промышленности и отечественной сырьевой базы для металлургической и машиностроительной отраслей. Средства, предназначенные на оборону, увеличивались вдвое по сравнению с планировавшимися в 1950 г., а в 1953 г. их величина возросла в четыре раза по сравнению с аналогичными показателями 1950 г. Доля военной про-

---

Коровицына Наталья Васильевна — канд. ист. наук, научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

мышленности в машиностроении республики возросла с 4% в 1950 г. до 25% в 1953 г. [1]. Чрезвычайные меры по милитаризации чехословацкой экономики, предусмотренные этим — по существу новым — планом, создали крупные диспропорции в промышленности, между отдельными ее отраслями, в экономике страны в целом. Задачи производства вооружений выходили на первое место в хозяйственной жизни, подчиняя себе ее гражданские структуры. Особенно резкий спад пережили традиционные для чехословацкой промышленности отрасли легкой индустрии. На фоне роста общих объемов промышленного производства способность его удовлетворять жизненные потребности населения значительно сократилась [2].

Тяжелое машиностроение, ориентированное на нужды военного производства, становилось главным звеном и ведущей отраслью промышленности, а ее ключевой проблемой и мерилom успешного развития — наращивание металлургического производства. Возникла «стальная концепция» развития экономики. Резко возросшие потребности в сырье для производства стали диктовать необходимость роста угледобычи, объем которой значительно превысил все прежние показатели. Увеличение инвестиций в горнодобывающую промышленность было вызвано существенно выросшей потребностью в добыче малоценных рудных ископаемых, их геологическом исследовании и строительстве предприятий по их обогащению. Так в ущерб экономической эффективности осуществлялась «стальная концепция» первой пятилетки. К концу ее сложилась такая структура чехословацкой экономики, которая не отвечала ни потребностям, ни возможностям дальнейшего развития страны. Тем не менее именно эта структура воспроизводилась до конца 80-х годов.

Широкомасштабное осуществление нового экономического курса стало возможным в условиях перехода к высокоцентрализованной — по образцу советской — системе управления экономикой, завершившегося уже в 1951—1952 гг.

Экономические возможности соседних, полуаграрных стран не позволяли им столь быстро создать комплекс военно-промышленных отраслей. Чехословакия же с ее высокоразвитой экономикой в течение двух-трех лет смогла перейти к иному типу хозяйственной структуры и отношений. Они предусматривали мобилизацию в такие же короткие сроки материальных и духовных ценностей и их волевое перераспределение в соответствии с поставленными КПЧ целями. Речь пойдет далее о полном пересмотре концепции использования национальных трудовых ресурсов, что имело наиболее тяжелые последствия для судеб общественного развития страны.

1951 г. принес наибольший подъем промышленной занятости. Именно этот год считается важным рубежом, после которого экономика страны отчетливо приобрела многие черты военного хозяйства, хотя начало данного процесса относится к первым месяцам 1949 г. [3].

В условиях начавшегося вскоре замедления экономического роста неудачными оказались попытки проведения реформы народного хозяйства при сохранении установившегося на рубеже 40—50-х годов типа общественных отношений. Эти попытки, предпринятые в 1958—1959 гг., а затем в середине 60-х годов, неминуемо завершились возвратом к централистской модели управления.

Годы первой пятилетки, открывшие эпоху «строительства социализма» в Чехословакии, стали временем коренного поворота не только в структуре производства, но и в социальной структуре. В результате этиатизации производства, перехода к новым отношениям собственности, имевшим следствием отчуждение от человека практически всех ее форм, радикально изменяется общественное положение и сознание многих представителей чешской нации. Этот переход, сопровождавшийся крупными подвигами в социально-классовой структуре, коснулся прежде всего многочисленного

среднего класса Чешских земель — городских и сельских производителей и разного рода мелких предпринимателей. Их численность сократилась наиболее радикально даже по сравнению с соседними странами и нациями.

Масштабность сдвигов 50-х годов оказалась пропорциональной уровню развития нации, ее социально-классовых субъектов. Даже перевод крестьян-единоличников в ряды кооперированных сельскохозяйственных производителей в Чешских землях в эти годы был более массовым, чем в полугаграрной Словакии. К 1960 г. в руках крестьян-собственников соответственно осталось всего 7,5 и 19,5% засеваемых площадей [4, s. 334]. Затем положение относительно стабилизировалось. Важно подчеркнуть, что изменение социального статуса крестьянства обусловило массовое сокращение занятости в сельском хозяйстве при соответствующем ее росте в промышленности.

Всего в 1954—1965 гг. численность жителей села в Чешских землях сократилась на 169 тыс. человек; в Словакии с ее высоким аграрным перенаселением она, напротив, увеличилась на 154 тыс. [5, s. 26]. Депопуляция чешского и моравского села усиливалась в результате того, что в город уезжала прежде всего воспроизводственная составляющая его населения, т. е. молодежь и люди среднего возраста. В аграрном секторе экономики Чешских земель сложился особенно большой — даже критический — недостаток рабочей силы, сокращение которого не компенсировалось ростом технической оснащенности сельскохозяйственного труда. В результате довоенный объем сельскохозяйственного производства был достигнут в Чешских землях лишь к 1967 г. [4, s. 394].

Чехия и Моравия, где концентрировался промышленный потенциал страны, где уже сформировалось общество современного типа, стали в 50-е годы центром тяжести реализации «основных закономерностей социалистического строительства», в том числе индустриализации и кооперирования. Сопровождавшие их подлинный социокультурный переворот, радикальное изменение всей системы общественных отношений были вызваны несоответствием достигнутого к февралю 1948 г. уровня общественно-экономического развития Чешских земель принятому курсу на «строительство социализма». Это несоответствие и породило в чешском обществе активные социально-экономические процессы «возвратного» характера. Важнейшим среди них стала реиндустриализация 50-х годов. В ходе ее происходила интенсивная пролетаризация широких слоев населения, вынужденного менять в новой системе общественных отношений свой социальный статус, всю совокупность жизненных целей и ценностей. Речь идет не только о бывших крестьянах, обобществление собственности которых наиболее полно проявилось уже во второй половине 50-х годов, но прежде всего о бывших городских собственниках, в том числе представителях непродуцирующей сферы экономики. Лишенные прежнего общественного положения еще во второй половине 40-х — начала 50-х годов, они «поглощались» быстро развивающимися отраслями тяжелой промышленности.

Наибольшую потребность в рабочей силе в годы первой и второй (1956—1960) пятилеток испытывали ставшие приоритетными топливно-энергетическая и металлургическая промышленность, а постоянно возраставший в этот период прирост угледобычи обеспечивался практически только за счет увеличения числа занятых. Главные очаги развития этих производств локализовались на территории Чешских земель. Традиционные для них индустриальные центры — угледобывающие Остравский и северо-запад Чехии, а также центральная ее часть — сформировались еще в третьей четверти XIX в., став основой раннеиндустриального этапа становления современного чешского общества. Столетие спустя они превратились в опорные базы реиндустриализации страны. Резервы роста занятости в районах «старого» промышленного освоения были исчерпаны уже к началу XX в.

Огромный дефицит рабочей силы, порожденный переходом к экстенсивному типу развития промышленности, стимулировал большой приток туда населения из других областей Чехословакии. Свыше половины всего прироста промышленной занятости сосредоточивалось именно в этих районах [4, с. 467].

Оставшаяся промышленная область со времени своего бурного развития в годы промышленной революции была ориентирована на прилив рабочей силы внерегионального происхождения. Эта ориентация особенно ярко проявилась в период реиндустриализации, когда сюда устремились многочисленные переселенцы со всех концов страны. Значительную часть их составляло население соседней Словакии. Уже на рубеже 40—50-х годов в Оставской области возникают новые, быстро растущие города (Гавиржов, Остров-на-Огржи и др.) — место жительства людей, прибывших в большинстве своем для работы на шахтах Оставско-Карвинского каменноугольного бассейна. В дневное время эти города пустели: три четверти населения Гавиржова, например, выездало на работу за пределы города [6].

По интенсивности и долговременным демографическим последствиям развитие комплекса топливно-энергетических отраслей северо-запада Чехии в послевоенные годы было адекватно периоду последней трети XIX в. Рост угледобычи в обоих случаях был примерно четырехкратным [7]. По сравнению с первой половиной XX в. темп роста здесь городского населения увеличился больше, чем на половину, и почти достиг чрезвычайно высоких его показателей последней трети XIX в. На общем фоне резко выделяется рост центров расселения в районе Северочешского бурогоугольного бассейна. Двух-трехкратное расширение возможностей приложения труда произошло в связанных с угледобычей центрах развития тяжелой промышленности.

Высокое миграционное сальдо на протяжении 50-х и 60-х годов характерно и для Среднечешской области, где в XIX в. находился центр формирования чешской промышленности, отсюда берет истоки современная чешская нация. В период реиндустриализации была взята ориентация на максимальное использование промышленного потенциала предприятий этой области и, главное, имевшейся там культурной традиции, т. е. квалифицированных кадров. Кроме того, в условиях инвестирования в этот период преимущественно сферы промышленности размещение здесь все новых и новых производственных мощностей и перепрофилирование старых объяснялись наличием готового жилого фонда, необходимой технической и социальной инфраструктуры. В многочисленных среднечешских промышленных центрах городского и полугородского типа и в рабочих поселках, возникавших в их окрестностях, появлялись относительно небольшие предприятия или дополнительные цехи. Преимущественно сюда и стягивалось население переживавших процесс депопуляции сел. Довольно высокая пространственная доступность этих центров для населения близлежащих районов, особенно южной Чехии, стимулировала рост маятниковых переездов сельского населения к месту работы и обратно.

Примечательно, что процесс концентрации населения в Среднечешской области практически не распространялся на Пражский район. Прага стала, пожалуй, единственной столицей европейского государства, численность населения которой, включая окрестности, относительно стабилизировалась.

Остальные области страны, помимо трех рассмотренных областей Чешских земель, имели отрицательное сальдо миграций [8, с. 489]. Наибольший отток населения пришелся на Среднесловацкую и Восточнословацкую области: реиндустриализация Чешских земель осуществлялась при активном участии бывшего аграрного населения Словакии, прежде всего молодежи из наиболее экономически отсталых ее районов. При систематическом спаде занятости в сельском хозяйстве Словакии там не создавалось условий для

ее быстрого роста в других секторах экономики. В результате общие показатели занятости населения Словакии в 50-е годы даже приобрели тенденцию к снижению [9].

Соседство двух наций разного уровня развития в этой ситуации имело большее значение для западной части страны, чем для восточной. Переселенцы из Словакии нашли места приложения своего труда на чешских и моравских шахтах, в цехах металлургических комбинатов, на стройках и в сельском хозяйстве, как правило, в качестве малоквалифицированных рабочих. «Движение на запад стало прежде всего движением занятости» [10]. Именно в таком смысле применительно к 50-м годам можно говорить о том, что Словакия, отставшая от Чешских земель по уровню экономического развития на 50—70 лет, оказала большое влияние на структурную перестройку чехословацкой промышленности в целом.

Большинство приоритетных профессий в сфере промышленности оказались связаны с тяжелым физическим трудом. Перераспределение мужской рабочей силы в пользу такого рода профессий происходило не только из сферы сельского хозяйства, но и из остальных — неприоритетных — сфер экономики [11]. Утеря наращивавшегося в течение многих десятилетий «капиталистической» индустриализации квалифицированного потенциала, производственных традиций ядра чешского рабочего класса была таким же неминуемым результатом этого перераспределения, как и дестабилизация рабочей силы, разрушение трудовой морали, выразившиеся в росте текучести, нарушениях дисциплины труда, прогулах и т. п. Доля получивших профессионально-техническую подготовку в той отрасли, где они работали, снизилась в рабочей среде до трети [12].

В условиях уравнительной системы оплаты труда, которая и позволила обеспечить максимальную занятость населения, происходило стирание различий между квалифицированным и неквалифицированным трудом. Главным критерием сузившейся уже в годы первой пятилетки дифференциации оплаты труда, в основных чертах сохранившейся до конца 80-х годов, стал половозрастной [13]. Преимущество начали отдавать практическому стажу работы и работникам-мужчинам, а не уровню сложности труда и подготовленности к нему. Относительно неизменным оставался удельный вес неквалифицированных рабочих (около одной шестой). Процент квалифицированных рабочих сокращался, и большинство их в 50-е годы составили рабочие малоквалифицированные, потребность в которых возросла [14]. Приоритетным в условиях реиндустриализации оказался работник раннеиндустриального типа, занятый ручным или частично механизированным трудом (шахтер, металлург). Упрощение характера труда, раздробление его содержания и ослабление дисциплины были свидетельством регрессивного характера динамики системы общественных отношений в целом. В этой системе не только профессиональные знания, но и инициатива, предприимчивость, самостоятельность рабочего класса смещались за ее пределы. Резкое снижение субъектной компетентности работника, его ответственности за результаты своего труда имело следствием деформацию главной — социокультурной — составляющей эволюции современного общества, его человеческой основы.

Чешское общество в 50-е годы было вовлечено в процесс, формально напоминающий первую стадию развития индустриальной цивилизации. Преимущественно «нисходящая» направленность социальных перемещений населения подразумевала в соответствии с концепцией «социалистической индустриализации» превращение всех групп населения в отчужденных от собственности наемных работников. Основная масса их формировалась в этот период в сфере промышленного производства. Политика такого рода индустриализации исходила из крайних форм форсированной пролетариации, лишавших работника возможности распоряжаться даже собственной

рабочей силой в условиях введения так называемых планомерных форм регулирования ее движения взамен разрушенного рынка труда. Очевидно, что для чешского общества, как и для любого другого, реализация этой «закономерности строительства социализма», сопровождавшаяся массовыми социальными перемещениями, далеко выходила за пределы чисто экономической практики. Достаточно сказать, что с 1953 г. не было зарегистрировано крупных выступлений чехословацких рабочих, если не считать их «символических протестов» в августе 1968 г. [15].

Сужение возможностей классового бытия непосредственно проявилось в судьбах занятых в индустрии и прежде всего промышленных рабочих, к которым принадлежало почти три пятых населения Чешских земель. За относительную стабильностью их доли в составе населения в эти годы стоят глубочайшие изменения не только внутренней структуры, но и всего социокультурного облика этого сформировавшегося на этапе «капиталистической» индустриализации класса чешского общества. В 50-е годы чешский рабочий класс стал основным социальным носителем идеи «строительства социализма» как перехода к социально однородному бесклассовому обществу. Как главный объект процессов деклассирования и люмпенизации в ходе разного рода социальных перемещений он выполнял двоякую функцию. С одной стороны, этот класс пополнялся, точнее размыкался, пролетаризованными группами населения. С другой — десятки тысяч рабочих, особенно в годы первой пятилетки, уходили на партийную работу, в государственный аппарат, включаясь в хозяйственно-управленческую деятельность «нового типа». К началу 70-х годов 70% чехословацких служащих были рабочего происхождения [16]. Таким образом, именно в рабочей среде осуществлялись тогда важнейшие социальные сдвиги, способствовавшие переходу от классовой структуры современного общества назад, к обществу сословно-иерархического тоталитарного типа.

Принятие Чехословакией в 1949—1953 гг. новой модели социально-экономического развития предопределило весь последующий процесс воспроизводства рабочей силы. Вместе с тем сама политика реиндустриализации оказалась лишь одним из этапов деятельности КПЧ, причем относительно кратковременным. Наступление нового этапа «строительства социализма» было вызвано изменением роли Чехословакии в системе «международного социалистического разделения труда». Ее абсолютный приоритет в области производства продукции военно-промышленного назначения, в целом металлоемких машин и оборудования в 60-е годы ушел в прошлое. Выравнивание уровня экономического развития восточноевропейских стран произошло за счет снижения его в Чехословакии не в меньшей мере, чем за счет повышения этого уровня в соседних с ней странах.

С середины 60-х годов изменяются содержание и направленность процессов социальной мобильности населения Чехословакии. Начинаются спад переселенческой мобильности и полная переориентация миграционных потоков. Теряет значение как основной центр концентрации населения индустриальная Североморавская область, которая становится убыточной по отношению ко всем областям Чешских земель. Существенно снижается и значение северо-запада Чехии, возникших здесь в годы первой пятилетки производств, связанных с добычей бурого угля. Довольно высокое иммиграционное сальдо по отношению ко всем областям республики, кроме Южночешской, сохраняет лишь столичная Среднечешская область [8, с. 489].

Коренные сдвиги в уровне и характере пространственной мобильности населения означали не просто очередную смену приоритетов и окончание форсированной реиндустриализации Чешских земель. Это был показатель завершения соответствующей им фазы социокультурной динамики, составившей своеобразие первого этапа «социалистической» истории страны.

Центральной фигурой его был лишенный собственности и выраженных общественно-политических интересов индивид, выполнявший простой физический труд в промышленности, основы не только социально-профессионального, но и общечеловеческого бытия которого подверглись значительной деформации. Об этом свидетельствуют приводимые ниже данные демографической статистики.

Реиндустриализация сопровождалась разрушением сложившихся как социально-профессиональных, так и межчеловеческих связей и отношений. Одним из проявлений ресоциализации личности стал отход от сложившихся в середине XX в. норм городской культуры чешского общества и принятие им более архаичного типа естественного воспроизводства части населения в новых местах его поселения. Предпосылки этих процессов были заложены крупными изменениями структуры расселения в Чешских землях в рассматриваемое десятилетие.

Конец 40-х—50-е годы занимают особое место в чешской истории еще и потому, что тогда установилась непосредственная зависимость роста городов от хода индустриального развития. В этом заключается еще одно принципиальное сходство этого периода со временем промышленной революции третьей четверти XIX в. и отличие от межвоенного периода. Наиболее интенсивный рост характерен для 50-х годов как и в период промышленной революции, для малых городов и поселений переходного от сельского к городскому типу. Одновременно в крупных и особенно крупнейших (более 100 тыс. жителей) городах занята в промышленности в эти годы снижается, и сами они переживают процесс стагнации [17, s. 235]. Поселения с 10—20 тыс. жителей становятся главными центрами реиндустриализации Чешских земель. Именно туда устремился основной поток не только из села, но и из более крупных городов (с 20—50 тыс. и даже с более 100 тыс. жителей) [18, s. 257].

В отличие от Чехии и Моравии, в Словакии темп роста населения в городах с более 10 тыс. жителей в 50-е годы был даже ниже, чем в довоенный период [17, s. 252]. И лишь на рубеже 50—60-х годов здесь начинается формирование сети сначала малых и средних, а в 70-е годы крупных городов. Что же касается 50-х годов, то они стали временем не только реиндустриализации Чешских земель, но и преимущественно «чешской урбанизации», точнее дезурбанизации данной части страны. В основе всех этих изменений лежал процесс роста промышленной занятости ее населения.

Чем меньше в Чехословакии город, тем выше доля рабочего класса в его населении. На фоне этой закономерности поселения с 10—20 тыс. жителей отличались в 1961 г. повышенной долей промышленного пролетариата [19, s. 408]. Максимум ее приходился на пригороды крупных городов. Именно рабочие поселки и малые города, возникшие в послевоенный период, районы городских новостроек создали территориальную структуру форсированной реиндустриализации. В рабочей среде и произошли наибольшие социокультурные изменения.

В 50-е — начале 60-х годов в чешских городах наблюдается возврат к нормам расширенного воспроизводства населения, присущим доиндустриальному обществу.

Важнейшей составной частью перехода к обществу современного типа наряду с промышленной революцией и урбанизацией, т. е. становлением индустриальной крупногородской культуры, является революция демографическая. Начавшись на территории Чешских земель еще в 30-е годы XIX в., демографическая революция, или демографический переход, завершилась в брачных когортах 1926—1930 гг. В течение столетия рождаемость снизилась вдвое, утвердился тип 1—2-детной семьи [20].

В 50-е годы XX в. плодovitость населения малых городов с 5—10 тыс. жителей вновь поднялась в Чешских землях до уровня выше среднего общенационального, а в городах с 10—50 тыс. жителей — выше среднего общегородского [19, с. 416]. В первой половине этого десятилетия рождаемость в городах с 20—50 тыс. жителей была выше, чем в сельской местности. Эта категория городов составляла исключение из общей закономерности снижения доли детей третьего и последующих порядков с ростом величины населенного пункта. По заниженной доле детей первого порядка и завышенной — пятого и последующих города с 20—50 тыс. жителей оказались ближе к селу, чем даже к поселениям с 2—5 тыс. жителей [21]. Там же наблюдались и наивысшие показатели естественного прироста населения. Значительно ниже среднего уровня эти показатели в 50-е годы были только в крупнейших городах (свыше 100 тыс. жителей), которые оказались в наименьшей степени вовлеченными в процессы реиндустриализации. Спад на рубеже 50—60-х годов естественного прироста населения крупнейших городов до уровня, близкого к нулевому, привел к убыли его общей численности в Праге и Пльзене в этот период. В начале 60-х годов к данной категории населенных пунктов присоединилось и чешское село, воспроизводственная составляющая населения которого резко сократилась в силу тех же процессов реиндустриализации [18, с. 254]. Такая демографическая ситуация не была характерна в рассматриваемый период для Словакии, где темп естественного прироста населения в городах с более 10 тыс. жителей оставался ниже средненационального.

В 50-е годы в среде жителей небольших промышленных центров Чешских земель произошел временный отход к системам воспроизводства населения экстенсивного типа. Не только структура промышленности и городской сети, но и характеристики самого городского населения, в том числе демографические, претерпели тогда крупные изменения. Но динамика их состояла в переходе от более высокой к более низкой стадии развития, соответствующей начальным этапам модернизации общества. Характерный для них промежуточный — полугородской-полусельский — тип населенного пункта со свойственными ему образом жизни и маргинальным типом личности вновь — почти столетие спустя — пережил здесь короткий период расцвета. Относительно небольшие промышленные центры, напоминающие рабочие поселки, в годы реиндустриализации превратились в очаги деформации социального статуса и демографического поведения населения. Прежде всего здесь локализовались наиболее активные процессы социальных перемещений, отвечавшие курсу КПЧ на «социалистическую индустриализацию».

Как свидетельствуют данные микропереписи 1967 г., относительно благоприятно на общем фоне выглядел статус — уровень образования и доходов — переселенцев в меньшие по величине поселения (с 20—100 тыс. и 5—20 тыс. жителей) из более крупных. С другой стороны, в группах населения с повышенными доходами, лучшими жилищными условиями, наличием автомашины больше была и доля мигрантов [22]. Переселенцы стали носителями процессов повышения уровня жизни в период реиндустриализации.

Массовые пространственные перемещения на первом этапе «строительства социализма» сопровождались радикальными изменениями сущностных характеристик самих их субъектов. У жителей небольших промышленных центров в максимальной степени проявилась смега совокупности их отношений с внешним миром, а значит и вся картина мира.

Основа нового мировоззрения закладывалась процессами секуляризации, с которыми в 50-е годы было особенно тесно сопряжено социально-экономическое переустройство общества. Больше всего настроенных атеистически



оказалось среди жителей Северочешской, Западночешской и Среднечешской областей, где концентрировались «перемещенные» слои населения [23].

В 1963 г. в Североморавской области под руководством Э. Кадлецовой проводилось исследование параметров религиозности населения. В ходе его были выявлены коренные различия в уровне религиозности старожилы и переселенцев периода форсированной реиндустриализации. Доля атеистов среди последних оказалась вдвое выше, еще больше их было среди переселенцев первой пятилетки [24, s. 52]. Атеистическое мировоззрение по существу отождествлялось тогда с социалистическим. Сторонниками его стали люди, вынужденные изменить не только род деятельности, место жительства, но и свои взгляды на мир, чтобы обеспечить свое материальное благосостояние. Так, лишь каждый десятый, оценивавший материальное положение своей семьи отрицательно, являлся атеистом, а половина их относилась к верующим [24, s. 59]. По сравнению с предвоенным периодом улучшили свое экономическое положение главным образом семьи атеистов, ухудшили — верующие.

Сравнение полученных в Североморавской области данных по состоянию на 1963 г. с данными обследования 1946 г. уровня религиозности населения Чешских земель в целом показало резкое уменьшение здесь доли верующих (с 64 до 34%) [24, s. 96]. И это несмотря на пополнение занятых на промышленных предприятиях области значительными контингентами традиционно религиозного словацкого населения, присутствия здесь в подавляющем большинстве верующего польского меньшинства.

Всего 17% опрошенного в 1963 г. населения Североморавской области, как выяснилось, пережило религиозный кризис, т. е. кризис своего мировоззрения. Среди атеистов это был почти каждый пятый. Однако большинство бывших верующих перешло в разряд колеблющихся, сохраняя двойственность своих взглядов на мир, соответствующую их неопределенному — маргинальному — социальному статусу.

Смена в 50-е годы жизненных основ участников реиндустриализации была далеко не безболезненным процессом. Этот драматический переход отмечен тяжелыми противоречиями в их сознании, породившими кризисные состояния их личности.

По результатам исследований чешских социологов, наибольшее распространение самоубийств зарегистрировано в начале 60-х годов именно для интенсивно развивавшихся в годы первых пятилеток промышленных центров. В городах с 20—50 тыс. жителей доля самоубийц значительно превышала средний уровень. Второе место по этому показателю заняли города с 50—100 тыс., третье — с 10—20 тыс. жителей. Минимальной эта доля была в сельской местности. Такая закономерность не была типична для Словакии. Как и в случае с уровнем рождаемости, стремление к добровольному уходу из жизни возрастало здесь пропорционально величине поселения, достигая максимума в Братиславе [25, s. 81].

Кризис личности оказался наиболее характерным для городов с высокой занятостью жителей в тяжелой, топливо- и металлоемкой промышленности, испытавших в 50-е годы большой приток населения. К их числу относятся Кладно, Хеб, Соколов, Теплице и другие города, расположенные на территории Остравского и Северочешского угольных бассейнов. В противовес им относительно благоприятней в этом отношении являлась ситуация в старых чешских городах со стабильной численностью населения, таких как Пардубице, Градец Кралове, Ческе Будейовице [25, s. 83].

Максимальные показатели доли самоубийств в 1960—1961 гг. были зарегистрированы в Северочешской области (на 58% больше средних по стране), минимальные — в Восточной Словакии. В целом наблюдалась убыль значения этого показателя с запада на восток страны. Его среднегодовые значения в 1960—1964 гг. в Чешских землях составляли 25,2‰, в Словакии

— 11,6% [25, с. 92]. Зависимость между количеством желающих добровольно уйти из жизни и уровнем социальной мобильности населения в наибольшей степени проявилась среди мужчин молодого и среднего возраста, составлявших основную часть занятых в так называемых приоритетных отраслях промышленности.

Реиндустриализация видоизменила весь процесс воспроизводства не только социальных, но и социально-биологических структур общественного организма. Уже в 60-е годы в Чехословакии устанавливается новый тип динамики смертности населения. В отличие от предшествующего десятилетия, преобладающей становится тенденция роста не только абсолютного количества умерших, но и коэффициентов смертности. Особенно неблагоприятным является изменение средней продолжительности жизни мужского населения. «1960 год явился решающим рубежом в динамике смертности мужчин старше 40 лет» [26]. Сказался рост нагрузок, далеко не всегда только производственных, на этого — главного — демографического субъекта форсированной реиндустриализации и ресоциализации. В 60-е годы — период максимального на общем послевоенном фоне роста смертности — снижение средней продолжительности жизни охватывает в Чешских землях мужчин в возрасте старше 30 лет (в Словакии — лишь старше 45 лет) [27]. Более трети всего прироста количества умерших пришлось в это десятилетие на фактический рост смертности, две трети — на ухудшение возрастной структуры [28].

Зоны реиндустриализации превратились в постоянные очаги повышенной смертности населения. Об этом свидетельствуют расчеты, произведенные чешскими демографами на основании переписи населения 1961 г. [29]. Аналогичные расчеты по материалам 80-х годов показали, что региональная дифференциация смертности в 60—70-е годы претерпела лишь незначительные изменения [30, с. 130]. В 1980—1981 гг., как и в 1960—1961 гг., наиболее высокая смертность регистрировалась почти исключительно, кроме промышленной зоны Кладно-Бероун в Среднечешской области, в Северочешском и Западночешском пограничье. На 20% выше средней она была в местах непосредственной добычи угля и его переработки (Мост, Дечин, Хомутов, а 20 лет назад — Теплице, Мост, Соколов) [30, с. 124]. Территориальные различия в уровне смертности мужчин, отражающие особенности пространственной и отраслевой структуры развивавшейся в послевоенный период промышленности, остаются ярко выраженными на всем его протяжении. Характерно, что крупнейшие города, в гораздо меньшей степени опиравшиеся в своем развитии на индустриальную основу (прежде всего Брно и Братислава), отличались относительно низким уровнем смертности жителей [30, с. 127]. К их числу принадлежал и крупнейший промышленный центр Словакии Кошице, быстрый рост которого в результате строительства там крупного металлургического комбината начался лишь на рубеже 50—60-х годов. Не превышала среднего уровня и смертность населения Праги, относительно слабо затронутой процессом реиндустриализации. На большей части территории юга Чехии и Моравии, составлявшей периферию бурных социально-экономических процессов 50-х годов, смертность населения оставалась ниже средней по стране.

Промышленный рост и рост смертности населения, прежде всего мужского, на протяжении всех четырех десятилетий «строительства социализма» были тесно взаимосвязаны. Демографические последствия форсированного развития 50-х годов, как и последствия социокультурные, ярко проявились уже в следующее десятилетие, сохранив свое значение и в 70—80-е годы. Первая пятилетка оставила на территории Чешских земель свои следы в виде особых пространств деформации социального статуса и характера естественного воспроизводства миллионов их жителей. Реиндустриализация оказала определяющее влияние не только на жизненные пути участвовавших

в ней групп населения, но и на их продолжительность. «Эхо» взятого в феврале 1948 г. КПЧ курса многократно отозвалось в судьбах не только современников событий первой пятилетки, но и следующих поколений чехов.

Рассмотренные выше процессы отражают сущность тоталитаризма как строя, основывающегося на политике централизованного перераспределения материальных и приравненных к ним людских ресурсов производственной и любой иной практики. Базирующийся на безмерном поглощении, часто переходящем в истребление, всех видов общественных ценностей, включая и высшую — человеческую жизнь, «социалистический строй» просуществовал в странах Восточноевропейского региона четыре десятилетия. Насильственный характер этого строя, как и в целом процессов «строительства социализма», еще раз открыто проявил себя во время взвода войск государств «социалистического содружества» на территорию Чехословакии в августе 1968 г. Военно-промышленный потенциал «социалистических» государств, в жертву которому была принесена чешская индустрия, обернулся против чешского народа. Проведенный в том памятном для чехов и словаков году опрос общественного мнения показал, что одним из самых бесславных периодов своей национальной истории они считают 50-е годы [31].

Рассмотренные в статье аспекты форсированной, ориентированной на нужды военного производства индустриализации как средства перехода к «социалистической системе общественных отношений» были характерны и для других стран Восточноевропейского региона. Прообразом такого рода трансформации общества явилась сталинская индустриализация, начавшаяся в 30-е годы в СССР. В течение более полувека здесь складывался мощнейший военно-промышленный комплекс, абсолютный приоритет имело производство средств производства. В крупных индустриальных зонах с их городскими агломерациями, которые возникли в ходе этих процессов, наиболее активно происходила люмпенизация всех групп населения. Лишение их выраженных черт социальных субъектов преследовало цель перехода к желаемой однородности общества как условия утверждения тоталитарных форм правления. По этому же пути после окончания второй мировой войны пошли и страны рассматриваемого региона — не только аграрные и полуграрные, но и промышленно развитые, какой была Чехословакия, точнее, ее Чешские земли. Неадекватность этого пути целям действительного развития стран и наций, подъема их цивилизационного уровня ярко демонстрирует «социалистическая» история чешского народа.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Vojenské dějiny Československa*. Praha, 1989, s. 37.
2. *Kaplan K. K výsledkům prvé pětiletky*. — *Ceskoslovenský časopis historický*, 1965, N 3, s. 365.
3. *Jirásek Z. Hospodářský vývoj průmyslových oblastí Čech v letech 1949–1953*. — *Slezský sborník*, 1990, N 2, s. 115.
4. *Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století*. Praha, 1974.
5. *Stručný hospodářský vývoj Československa do roku 1955*. Praha, 1969.
6. *Srb V. Havířov. Demografická studia*. — In: *Demografický sborník*. Praha, 1959, s. 151–152; *Ullmann O., Andrlé A. Bydlení a přítomné obyvatelstvo podle posledního sčítání*. — *Demografie*, 1965, N 2/3, s. 213.
7. *Zahálka J., Pšutka J. Demograficko-urbanistický vývoj v severních Čechách*. — *Demografie*, 1984, N 4, s. 316.
8. *Pavlik Z., Rychtaříková J., Šubrtová A. Zaklady demografie*. Praha, 1986.
9. *Polstoročie Slovenska v spoločnej vlasti*. Bratislava, 1969, s. 68.
10. *Ceska J. Ke strukture vedeckovýzkumné a vývojvé základny v ČSSR*. — *Statistika a kontrola*, 1963, N 10, s. 439.
11. *Beinhauerová A., Sommer K. K problematice pracovních sil a jejich zdrojů v uhelném průmyslu českých zemí v letech 1949–1960*. — *Ceskoslovenský časopis historický*, 1988, N 5, s. 667–668.

12. Гулакова М., Вечерник Й., Гартл Я., Шандерова Я. Социальное развитие рабочего класса ЧССР в условиях строительства социалистического общества.— В кн.: Рабочий класс в мировом революционном процессе. М., 1985, с. 74.
13. Večerník J. Mzdová a příjmová diferenciacie v Československu: některá systémová specifika.— Sociologický časopis, 1989, N 3, s. 263.
14. Richta R. Civilizace na rozcestí. Praha, 1967, s. 102.
15. Myant M. R. The Czechoslovak economy, 1948–1988. London, 1988, p. 218.
16. Felcman O. Sociálně třídní struktura socialistické společnosti v Československu po vybudování základů socialismu (1960–1971).— In: Slovanské historické studie. T. XV. Praha, 1985, s. 72.
17. Musil J. Urbanizace v socialistických zemích. Praha, 1977.
18. Srb V., Kučera M. Stěhování a poměš'ování obyvatelstva v Československu. — Sociologický časopis, 1965, N 3.
19. Srb V., Kučera M. Struktura obyvatelstva v městech a na vesnici v ČSSR.— Sociologický časopis, 1966, N 3.
20. Pavlík Z., Zbořilová Z. Changes in Czechoslovak marital fertility.— In: Demographic aspects of the changing status of women in Europe. Nijhoff, 1978, p. 65.
21. Svetoň J., Vavra Z. Reprodukce obyvatelstva v Československu po druhej svetovej valce. Bratislava, 1965, s. 117.
22. Vecerník J. K otázke vztahu migrace a životní úrovně.— Demografie, 1971, N 4, s. 320–321.
23. Vědecký ateismus. Praha, 1984, s. 321.
24. Kadlecová E. Sociologický výzkum religiozity Severomoravského kraje. Praha, 1967.
25. Ružicka L. Sebevražednost v Československu z hlediska demografického a sociologického. Praha, 1968.
26. Rychtářiková J. Vývoj umrtnosti v ČSR podie pohlaví a věku v období 1950–1984.— Demografie, 1987, N 3, s. 198.
27. Vývoj populácie v ČSSR najmä z demografických hľadísk. Bratislava, 1972, s. 109.
28. Srb V. Příčiny vzestupu úmrtnosti v letech 1960–1970.— Demografie, 1972, N 3, s. 219.
29. Kučera M., Ružicka L. Regionální rozdíly v úrovni umrtnosti obyvatelstva ČSSR (1960–1961).— Demografie, 1964, N 2, s. 116.
30. Ctrnáct P. Regionální rozdíly v umrtnosti v letech 1980–1981.— Demografie, 1985, N 2.
31. Paul D. W. Cultural limits of revolutionary politics: Change and continuity in Socialist Czechoslovakia. Boulder, 1979, p. 62–63.



АНИКЕЕВ А. С.

## ЮГОСЛАВИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ В ГОДЫ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» (КОНЕЦ 40-Х — НАЧАЛО 50-Х ГОДОВ)

После второй мировой войны с наибольшей остротой конфликт двух сверхдержав — СССР и США — и входивших в их системы государств проявился на Европейском континенте. Возникший здесь вакуум силы две системы пытались заполнить, исходя из собственных политических целей и опираясь на свой комплекс мировоззренческих представлений. США, Великобритания и их основные союзники стремились к слому тоталитаризма в Германии и странах-сателлитах, восстановлению буржуазной демократии с рыночной экономикой, здравым смыслом и христианскими ценностями. В свою очередь, Советский Союз, вышедший из войны значительно усилившимся в военном отношении, ставил перед собой задачи расширения зоны своего влияния в Европе и мире, прикрывавшегося распространением идей социализма. США и Великобритания осознавали свою ответственность за судьбы мира и в делах с Советским Союзом пытались, на первых порах, избегать жесткой конфронтации, высказывали готовность идти на определенные компромиссы в решении взаимных проблем. Советское же руководство смотрело на отношения с Западом через призму основной цели — «всемирной пролетарской революции». Неадекватно оценивая военно-экономический потенциал СССР и его роль в мировой политике, оно стремилось к консолидации всех левых сил для решительной борьбы с «загнивающим капитализмом». Отсюда центральной задачей становилось не достижение консенсуса с Западом, но постоянное давление по всем направлениям с тем, чтобы обеспечить в нужный момент «последнюю революционную атаку». Соответственно формулировалась и советская военная доктрина, в которой лучшим средством обеспечения собственной безопасности считалось создание обстановки максимальной военной угрозы для тех стран, которые зачислялись в разряд противников. Советские успехи в создании ядерного оружия, а затем и ракетной техники способствовали усилению данной военно-политической ориентации [1]. Понимание этой стержневой доминанты советской внешнеполитической стратегии дает возможность для раскрытия характера всей послевоенной эпохи с ее «холодной войной» и многочисленными кризисами.

---

Аникеев Анатолий Семенович — канд. ист. наук, научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

Идеологизированная внешнеполитическая доктрина СССР с ее угрожающей существованию Запада конечной целью как и реальная советская практика первых послевоенных лет не могли не вызвать ответного противодействия западных держав и их союзников. Основные разногласия возникли вокруг вопроса о судьбах стран Восточной Европы, где победа коммунистов и начавшееся тиражирование сталинской модели социализма воспринимались США и Великобританией как нарушение СССР достигнутых на заключительном этапе войны договоренностей. Страны «народной демократии» в представлении Запада были полностью зависимыми от Москвы.

Югославия была одной из стран, наиболее активно сотрудничавших с Советским Союзом, и как отмечал посол США в Белграде в одной из телеграмм в госдепартамент в сентябре 1947 г., она становилась «самым верным его союзником и ведущей силой советской экспансии коммунизма в регионе» [2, с. 63]. Британская дипломатия, в свою очередь, подчеркивала, что югославское руководство в большой степени зависит и от советской поддержки своей внутренней политики, без чего ее проведение было бы невозможно [3, с. 267]. Югославское руководство в те годы в основном копировало сталинскую тоталитарную систему. На международной арене Югославия выступала в тесном взаимодействии с СССР. Дипломатия двух стран координировали действия на различных международных переговорах, обе страны осудили фултонскую речь У. Черчилля, выступили против «доктрины Трумэна» и «плана Маршалла». Советский Союз в ходе послевоенного мирного урегулирования поддерживал югославские позиции в вопросе о Каринтии, Триесте, а также по другим проблемам [4, с. 6].

В свою очередь, югославское руководство демонстрировало готовность оказывать помощь коммунистам соседних балканских стран, в частности Греции, поднявшим весной 1946 г. восстание против существующего режима. Это был не только акт солидарности в борьбе за мировую революцию, но и стремление к превращению новой Югославии в доминирующую силу на Балканах, что отвечало амбициям югославского руководства во главе с Й. Тито. На первом этапе эти планы сознательно подогревались Сталиным, рассчитывавшим использовать Югославию в качестве инструмента давления на Запад в Восточном Средиземноморье. Панбалканские установки югославских коммунистов получали отражение и в активной политике в Албании, в которой партийные и военные советники из Югославии играли ключевую роль в формировании новых политико-социальных и военных структур. Значительные усилия прилагали югославские руководители для налаживания тесного сотрудничества с Болгарией, с которой обсуждались планы совместной федерации и в качестве первого шага на пути к ее созданию был подписан в ноябре 1947 г. договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи [5].

Ситуация на Балканах после начала гражданской войны в Греции стала вызывать особую озабоченность в Вашингтоне, где она рассматривалась в контексте советской политики вдоль так называемого «северного яруса» — от Ирана до Италии. Не меньшее беспокойство вызывали у администрации США события в Иране весной 1946 г., когда Советский Союз поддержал сепаратистские выступления в Иранском Азербайджане, пытаясь использовать свои войска, находившиеся на территории этой страны [6, р. 304, 326]. В августе 1946 г. СССР направил Турции ноту, в которой потребовал пересмотра режима проливов и создания там совместных советско-турецких военных баз, что вызвало панику в турецких правящих кругах [6, р. 334].

Что касается обстановки в Греции, то еще в феврале 1946 г. Сталин послал руководству греческой компартии телеграмму, в которой советовал принять участие в предстоящих всеобщих выборах. «Затем уже посмотрите, — говорилось далее в телеграмме, — соответственно с развитием ситуа-

ции, основной центр тяжести сможете перенести, когда в законные методы, а когда — в вооруженную борьбу» [7]. После второго пленума ЦК КПГ был взят курс на вооруженную борьбу. Весной 1946 г. генеральный секретарь ЦК КПГ Н. Захариадис встретился с Тито в Белграде, а затем со Сталиным в Крыму. Оба руководителя поддержали курс греческих коммунистов на борьбу за власть. Через год, весной 1947 г., Захариадис просил Тито о предоставлении помощи оружием для создания свободной зоны на севере Греции. Он также излагал свои планы Сталину, подчеркивая необходимость соединения для победы сил греческих партизан с поддержкой со стороны Югославии, Болгарии и Албании. Вместе с тем большинство греческого народа идентифицировало греческих коммунистов с македонскими сепаратистами, стремящимися к расколу страны в интересах северных соседей, и отвергало подобную альтернативу [8, р. 328]. Следует отметить, что правящий режим Греции был консервативен, нерешителен, его разъедала коррупция. Он не справлялся с ситуацией в стране, когда в обстановке экономического хаоса коммунисты стали на путь партизанских действий. В ответ последовала реакция ряда антикоммунистических террористических группировок, усилившая поляризацию политических и гражданских сил.

В обстановке обострения гражданской войны осенью 1946 г. греческое правительство обратилось к Великобритании и США с просьбой об увеличении экономической помощи и предоставлении военной. В конце сентября 1946 г. в госдепартаменте появился меморандум Л. Хендерсона, в котором подчеркивалось, что Греция является центральным звеном и ее судьба станет в ближайшие месяцы определяющим фактором в развитии Балкан и Среднего Востока. Переход Восточного Средиземноморья под советский контроль, что является целью СССР, усилит позиции Советского Союза и затронет интересы США, отмечалось в документе [8, р. 331]. В госдепартаменте также считали, что внутренняя слабость Греции позволит греческим коммунистам оторвать от страны северные территории. Комплекс причин, среди которых главной была угроза внутренней стабильности Греции, в том числе со стороны соседей с севера, привели США весной 1947 г. к принятию программы экономической, финансовой, а позже и военной помощи этой стране, а также Турции, получившей название «доктрины Трумэна». Это была первая послевоенная акция США, направленная против политики СССР и его союзников в этом регионе.

В декабре 1947 г. греческие партизаны создали Временное демократическое правительство Греции (ВДПГ), что вызвало особую озабоченность в правящих кругах США, так как рассматривалось в качестве прелюдии к провозглашению на севере страны независимого государства во главе с коммунистами и последующего его присоединения к Балканской федерации, планы создания которой обсуждались в то время в Москве, Белграде и Софии. 6 января 1948 г. Совет национальной безопасности принял документ, в котором говорилось о готовности США послать свои войска в Грецию в случае прямой или косвенной агрессии против нее. 12 февраля этот документ был переформулирован, и американское вмешательство ставилось в зависимости от признания ВДПГ со стороны социалистических стран [9, р. 1-7, 46-49].

Планы создания в Восточной Европе федерации государств с просоветскими режимами стали в январе-феврале 1948 г. предметом обсуждения в госдепартаменте. Дополнительным импульсом послужила публикация в «Правде» 28 января 1948 г. разъяснений к напечатанным несколькими днями раньше выдержкам из выступления Г. Димитрова на пресс-конференции, на которой он затронул проблему федерации балканских государств. В этой редакционной заметке в «Правде», авторство которой, по мнению некоторых советских историков, принадлежало Сталину, планы болгарского руководителя были названы надуманными и ненужными.

Анализируя советскую позицию в отношении федерации, американское посольство в Москве пришло к выводу, что в Кремле рассматривается ряд вариантов такого объединения. Самый простой заключался в административном включении восточноевропейских государств в состав СССР. Посол Смит в телеграмме госсекретарю Маршаллу от 9 февраля 1948 г. сообщал, что этот вариант изучается в Москве как модель будущего устройства региона, а возможно и мира. В настоящее же время целью СССР остается установление полного советского контроля в Восточной Европе и любые политические комбинации в этом регионе оцениваются Кремлем в соответствии с этой задачей [9, р. 293]. В то же время в телеграмме Смита подчеркивалось, что сейчас идея Балканской федерации для советского руководства с точки зрения посольства, представляется менее привлекательной, так как советская мощь и возможность прямой доминации значительно возросли. Интересное замечание касалось вопроса о возможности Кремля доверить кому-либо реализацию идеи федерации. Посол Смит, отражая мнение аппарата посольства, высказывал точку зрения, что вряд ли советское руководство поручит организацию такой федерации от Балтики до Эгейского моря даже своим самым надежным сторонникам в странах-сателлитах [9, р. 294].

В обсуждении проблемы участвовало также и американское посольство в Белграде, которое попыталось спроецировать возможные последствия создания федерации на ситуацию в Средиземноморье и американско-советские отношения в регионе. Полагая, что одной из возможных целей СССР является включение югославянских государств в свой состав, посол К. Кеннон в телеграмме госсекретарю указывал, что реализация этой идеи должна вызвать у Москвы настороженность, поскольку «здесь много латентных проблем» и «достаточно подавленного национализма» [9, р. 297]. Лидерство СССР в этой части Европы могло быть достигнуто, по мнению посольства, и при существующей системе косвенного контроля над отдельными странами. Как считали американские дипломаты, Балканская федерация вряд ли была бы полезной для СССР, исходя из ближайших планов в отношении Европы. Перспективным представлялось им использование Москвой Югославии как орудия давления на Италию (проблема Триеста). Касаясь греческого вопроса, Кеннон высказывал сомнение в успехе гибкой, как он ее называл, дипломатической тактики, в основе которой лежало поочередное использование Албании, Болгарии и Югославии в качестве подставных фигур на границе [9, р. 298]. В телеграмме подчеркивалось, что все эти рассуждения не должны затушевывать базисные советские цели в этой части Европы, а именно контроль над проливами. И хотя по этому поводу сейчас «шума не много», но «ставки» в отношении Эгейского моря в долгосрочном советском планировании выше, чем в отношении Адриатики [9, р. 298].

В меморандуме госдепартамента от 18 февраля 1948 г., продолжавшем тему, высказывалось предположение, что американская политика в Европе, инициативы, связанные с «планом Маршалла», растущая тенденция европейских государств к объединению ускоряют, возможно, советское «расписание» с его конечной целью «поглощения сателлитов», оставляя в резерве планы создания конфедерации. Однако осуществление подобной гипотетической программы угрожало бы, по мнению авторов меморандума, американской стратегии «восстановления свободы сателлитов», поскольку не позволяло достичь этой цели, не «разрушив само Советское государство» [9, р. 299]. Рассуждая далее о возможных трудностях, которые появятся у Советского Союза в случае, если он решится на «поглощение сателлитов», авторы меморандума выделяли главное — национализм как фактор, способный только усугубить советские проблемы, существующие, в частности, с «упрямыми украинцами». В случае принятия такого плана возникли бы



также серьезные осложнения с установлением в этих странах советской социо-экономической модели, что было обусловлено разным уровнем развития этих стран. В документе госдепартамента указывалось, что действующая система отношений с «народно-демократическими» странами «позволяет Москве применять основной контроль без особого внимания к частным действиям местной администрации». Как считал госдепартамент, подобная ситуация должна была устраивать СССР, поскольку позволяла ему совмещать несовместимое, «дважды есть свой пирог», по выражению авторов документа [9, р. 300].

Как видно из американских дипломатических документов того периода, США в основном адекватно оценивали ситуацию, в которой главной фигурой в разработке сценария федерации и возможных планов его реализации был Советский Союз. Вместе с тем американские дипломаты высказывали сомнения в целесообразности создания подобного объединения, исходя из существующей практики отношений Советского Союза со своими союзниками. Главным, однако, было то, что американцы непоколебимо были уверены в экспансионистском характере советской внешней политики в Восточном Средиземноморье, подчеркивая, что какой-либо компромисс с СССР, именуемым ими не иначе как «полицейское государство», невозможен. Важным является также и то, что американская дипломатия понимала, что советская сторона действует в регионе не непосредственно, а главным образом через своих союзников.

Активность Югославии и Болгарии по созданию Балканской федерации, а также югославские претензии на контроль над Албанией вызывали настороженность советского руководства, и начиная со второй половины 1947 г. действия Югославии стали подвергаться критике [4, с. 9]. Однако на совещании советских, болгарских и югославских руководителей 10 февраля 1948 г. в Москве Сталин, раскритиковав концепцию широкой федерации восточноевропейских стран, неожиданно предложил немедленно создать югославо-болгарскую федерацию. Когда Э. Кардель упомянул и Албанию, сказав, что югославо-албанская федерация практически готова, последовало замечание Сталина, что вначале должны объединиться Югославия и Болгария, а затем наступит очередь и Албании [10, р. 166].

Проникнуть в логику сталинской мысли сложно, но можно предположить, что у Сталина было несколько планов, на реализацию которых он рассчитывал в ближайшее время. Во-первых, соединяя Югославию с Болгарией, он получал возможность в значительно большей степени контролировать югославское руководство, которое демонстрировало тогда известную самостоятельность. Во-вторых, не исключено, что Сталин решил как бы воплотить в жизнь уже в новой ситуации свой джентльменский договор с Черчиллем, заключенный в октябре 1944 г., согласно которому СССР и Великобритания делили сферы военной ответственности в Греции в пропорции 1 к 9. Вероятно, этот его план был разгадан американцами несколько раньше, судя по их серьезной реакции на образование греческими коммунистами Временного правительства. Руководство же КПГ оказалось наиболее послушным исполнителем воли Сталина, сделав со своей стороны все возможное для того, чтобы в нужный момент быть готовыми к вхождению в Балканскую федерацию. Следующим шагом после создания ВДПГ и его признания со стороны стран «народной демократии» могло быть объявление независимого государства в границах Эгейской Македонии и последующее его присоединение к Балканской федерации, что обеспечило бы его надежную защиту, а Сталину — контроль над примерно 10% территории Греции.

Есть все основания предполагать, что с начала 1948 г. Сталин и его окружение планировали массированное «наступление на позиции капитализма» на ряде европейских направлений. Следует вспомнить, что в речи

А. Жданова на совещании коммунистических и рабочих партий Европы, состоявшемся в Польше осенью 1947 г., концепция непримиримой борьбы с «реакционным империалистическим лагерем» получила «теоретическое обоснование [11]. Можно предположить, что такая предреволюционная эйфория и практически безоголосное балансирование на грани «холодной» и «горячей» войны возникли у советского руководства благодаря также и важной победе советского военно-научного комплекса, о которой Сталин сообщил Димитрову в феврале 1948 г., — ликвидации монополии США на ядерное оружие (первое испытание атомной бомбы состоялось только во второй половине 1949 г. [10, р. 155]).

Очевидно, что линия кремлевского руководства по отношению к Югославии и Болгарии определялась задачами подобной «революционной» стратегии. Сталин стремился не допустить в этот ответственный момент, когда была необходима консолидация всех сил «для борьбы с империализмом», чтобы какие-либо страны «народной демократии» действовали самостоятельно, вне созданного им революционного сценария. Югославия же пыталась, активизировав свою балканскую политику, действовать, по его мнению, без согласования своего курса с советским. Поэтому на встрече в Москве в феврале 1948 г. Молотов, по словам Э. Карделя, почти в ультимативной форме потребовал от югославской стороны подписать советско-югославский протокол о двусторонних консультациях по важным международным вопросам, затрагивающим интересы обеих сторон [4, с. 11]. В разговоре с болгарским и югославским руководством на этом совещании Сталин несколько раз касался вопроса о гражданской войне в Греции, подчеркивая свою озабоченность позицией США и Великобритании. Он сообщил членам делегации Югославии и Болгарии о том, что советская сторона желает скорейшего завершения «восстания в Греции», поскольку у греческих коммунистов нет перспектив успеха. Сталин убеждал своих собеседников, что США и Великобритания не допустят, чтобы была перекрыта жизненно важная для них артерия коммуникаций в Средиземноморье [10, р. 169].

На наш взгляд, это неоднократно цитируемое в литературе свидетельство сталинской сдержанности в греческом вопросе требует некоторого объяснения. Известно, что Сталин свои истинные планы держал при себе, либо излагал в предельно узком кругу приближенных. Анонсируя позицию советского руководства представителям «братских компартий», он, в первую очередь, рассчитывал, что эта информация станет известна западным державам. Параноидный сталинский мозг видел, как известно, шпионов повсюду, а югославских руководителей стали называть английскими и американскими шпионами всего через несколько месяцев после этого разговора. Вместе с тем его действительное желание скорейшего завершения гражданской войны в Греции не противоречит предложенной версии. Продолжение войны могло привести к прямой военной интервенции США на Балканах, что не отвечало сталинским планам мирного экспорта революции, исключавшим до поры до времени непосредственную военную конфронтацию с Западом. Создание же Балканской федерации и включение в нее части северных территорий Греции способствовало бы прекращению в этой стране внутренних распри, во всяком случае вооруженного конфликта, поскольку враждующие стороны оказывались при образовании нового государства разьединенными формально легитимными границами, как позднее в случае с Кореей, Вьетнамом, Германией. Вооруженная агрессия в новых условиях «южной» Греции против «северной» вполне законно могла рассматриваться советской стороной как нападение на союзную страну со всеми вытекающими последствиями. Лицемерный характер сталинской «озабоченности» греческой проблемой, скрывающий истинное отношение к ней, показали последующие события. Так закрытие границы с Грецией югославской стороной в июле

1949 г., уже в разгар советско-югославского конфликта, прервавшее снабжение греческих повстанцев и нарушившее их межграницное маневрирование, вызвало в Москве резко негативную реакцию. Югославия обвинялась в предательстве греческой революции и на нее возлагалась вина за ее поражение. Часть руководства греческой компартии после репатриации из Албании в СССР в конце 1949 г., в частности македонская группа во главе с П. Митревским, была репрессирована и осуждена на долгие годы тюрьмы и ссылки за «капитулянтские позиции» на завершающем этапе гражданской войны [12].

На расширенной сессии политбюро компартии Югославии 1 марта 1948 г., после возвращения югославской делегации из Москвы, среди прочих вопросов обсуждалась и проблема федерации с Болгарией. Перед обсуждением Тито сообщил об отказе Советского Союза предоставить Югославии тяжелое вооружение под предлогом, что ей не нужна сильная армия, так как советская армия является ее защитницей. СССР отказался также возобновить торговое соглашение с Югославией. По мнению Тито, отношения с СССР зашли в тупик. Кардель, касаясь федерации с Болгарией, отметил, что в существующих, достаточно неопределенных обстоятельствах объединение с Болгарией было бы опасной ошибкой. Тито, не возражая против самой идеи федерации, добавил, что для партии и страны она будет играть роль троянского коня, предполагая, очевидно, возможность советского воздействия на Югославию через объединенную с ней Болгарию и ограничение югославской самостоятельности [10, р. 174]. Кардель впервые поставил на этой сессии вопрос о необходимости утверждения равноправных отношений между социалистическими странами.

Таким образом, попытки Сталина оказать давление на югославское руководство с целью добиться от него отказа от проведения самостоятельной внешнеполитической линии натолкнулись впервые за несколько лет формирования «социалистического лагеря» на сопротивление. Последовавшее развитие событий показало, что Сталин и его окружение отнюдь не были склонны к взвешенному и спокойному анализу возникших разногласий и их мирному разрешению. В ход была пущена целая обойма обвинений в ревизионизме и оппортунизме. Вскоре конфликт охватил все сферы партийных и межгосударственных отношений двух стран. Советское руководство, используя Информбюро, организовало на ряде заседаний этого органа обсуждение позиции югославской компартии, вылившееся в навешивание ярлыков и призывы к «здоровым силам» внутри КПЮ взять власть в свои руки. Ухудшились отношения Югославии с «народно-демократическими» странами, политика которых по отношению к «сретуку» диктовалась верностью генеральному курсу ВКП(б).

Возникший между СССР и другими странами советского блока конфликт с Югославией в США попытались оценить с позиций глобального американо-советского противостояния. Стремление югославского руководства к большей независимости от Москвы американские дипломаты стали улавливать уже в первой половине 1948 г. Поверенный в делах в Болгарии Хит в телеграмме госсекретарю от 12 апреля отмечал, что среди болгарского руководства, «фанатически преданного Москве», не ощущается никакого импульса к независимости от нее, «подобного тому, который мы время от времени можем наблюдать в Белграде» [9, р. 174]. Однако до известной резолюции Информбюро (конец июня 1948 г.) госдепартамент, очевидно, не мог обнаружить явных признаков конфликта. Лишь слабые его отзвуки отметил в середине июня секретарь американского посольства в Белграде Б. Римс, указавший на советское заявление о необходимости переноса из Белграда Дунайской конференции, а также на тот факт, что советское правительство не направило Тито поздравление с днем его рождения (25 мая) [2, s. 63].

28 июня появилась первая резолюция Информбюро «О положении в коммунистической партии Югославии», а уже спустя два дня Совет планирования политики госдепартамента, возглавляемый Дж. Кенноном, представил на рассмотрение других отделов этого ведомства и ряда правительственных учреждений документ, в котором предпринималась попытка комплексного анализа всех возможных последствий этого события и его влияния на характер отношений внутри советского блока, на позиции СССР в системе международного коммунистического движения, на перспективы американо-югославских отношений. В документе отмечалось, что позиция, которую займут в данный момент США, может стать важным прецедентом в случае возникновения подобной ситуации в отношениях СССР с другими странами «народной демократии», даже если конфликт приведет к их более тесному сплочению. В этой связи рекомендовалось предельно тщательное и осторожное формулирование американской политики [9, р. 1079]. Авторы документа предлагали при оценке проблемы учитывать несколько важных, с их точки зрения, моментов. С одной стороны, не следовало пока рассматривать Югославию в качестве «дружественной страны, исходя из ее особых отношений с СССР, обозначившихся в данное время». Это противоречило бы американским принципам, согласно которым политический строй в странах «народной демократии», в том числе и в Югославии, расценивался как «тоталитарная диктатура». Поэтому госдепартамент рекомендовал не демонстрировать чрезмерного расположения в отношении югославского руководства, так как это могло быть использовано Советским Союзом для пропаганды против Югославии в рядах международного коммунистического движения, а также внутри КПЮ. С другой стороны, советовалось не быть и очень «холодными» к югославам, ибо «такая позиция также была бы взята противной стороной (СССР.— А. А.) в свой пропагандистский арсенал» [9, р. 1080].

В соответствии с такой гибкой тактической линией американские дипломаты должны были занимать следующую позицию в частных беседах: «США приветствовали бы восстановление Югославии в своих правах в качестве политического субъекта, а позиция американского правительства в отношении югославского зависела бы в первую очередь от поведения последнего в отношении США, западноевропейских стран и международного сообщества в целом» [9, р. 1080]. Признавая, что характер внутреннего строя в Югославии не соответствует американским идеалам, авторы документа делали в то же время чрезвычайно важную, с точки зрения понимания всей последующей политики США, оговорку: «В случае, если Югославия не будет проводником интересов внешней силы, то ее общественный строй является, в основном, ее собственным делом» [9, р. 1081]. Очевидно, что выдвижение такого «пожелания», содержание которого американцы вскоре передали югославской стороне, было в значительной степени связано с задачами США в регионе и прежде всего с «доктриной Трумэна». Тем самым уже на первом этапе в американский подход к Югославии в новых условиях был заложен примат внешнеполитических требований. Вместе с тем дальнейшая дискуссия по вопросу о наиболее приемлемой американской линии в отношении Югославии показала, что в ряде ведомств, в частности в ЦРУ, имелись и другие точки зрения.

В документе госдепартамента рекомендовалось, не считая югославский общественный строй препятствием, способствовать нормальному развитию экономических отношений Югославии с США, а также со странами Западной Европы в том случае, если «она пожелала бы занять позицию сотрудничества и лояльности в этих международных отношениях». По мнению госдепартамента, экономические рычаги в данной ситуации могли быть достаточно эффективными и наименее подверженными риску, имея в виду возможность

восстановления советско-югославских отношений, что учитывалось госдепартаментом [9, p. 1081].

Британская дипломатия в первые дни после появления резолюции Информбюро высказала предположение о том, что конфликт, учитывая характер Тито, примет затяжной характер, так как Кремль удовлетворится только публичным отречением югославского руководителя от своих позиций. Как и американцы, англичане считали, что западная, в том числе британская, поддержка Тито будет ему во вред, поскольку станет предлогом для обвинения руководства Югославии в антисоветизме. В Форин оффис обсуждалась также и такая проблема: в интересах ли Британии было бы советское свержение Тито военным путем или таким интересам отвечало бы сохранение его режима? Было признано, что первый вариант произвел бы значительный эффект на западное общественное мнение, позволив ускорить создание Североатлантического пакта. В то же время в долгосрочном плане второй выбор был полезнее, так как, по мнению британских дипломатов, лучше иметь «смягченного Тито, чем советскую марионетку и советские войска». Позже это позволило бы легче ввести Югославию в западноевропейское сообщество [3, s. 272].

США предпринимали шаги, свидетельствовавшие о некоторых подвижках в американской политике по отношению к Югославии. 19 июля 1948 г. было подписано соглашение об освобождении «замороженных» в США югославских активов и имущества на сумму 47 млн долларов, депонированных королевским правительством Югославии еще перед войной. Одновременно были урегулированы претензии по поводу национализированной новой Югославией американской собственности (США получили компенсацию в размере 17 млн долларов), а также произведены взаимные расчеты по ленд-лизу и некоторым программам помощи, осуществлявшимся на заключительном этапе войны и в первые послевоенные годы [2, s. 68]. Переговоры по этим вопросам велись с мая 1947 г., но ранее постоянно затягивались американской стороной.

Вместе с тем внутри правящих кругов США были сильны установки на немедленное вмешательство в конфликт для отстранения коммунистов от власти в Югославии. Британский историк Е. Баркер пишет, что первой реакцией американцев, «по меньшей мере ЦРУ», на конфликт Сталин — Тито была мысль попытаться «заменить Тито некоммунистическим прозападным режимом, используя, к примеру, антититовских националистов в эмиграции». Британский МИД в феврале 1949 г. сообщил госдепартаменту, что это послужит только возникновению наихудших подозрений у Тито относительно подлинных целей США [13, p. 163]. К счастью, как пишет Баркер, эту точку зрения разделял новый американский посол в Белграде К. Кеннон, который попытался убедить Вашингтон в том, что конфликт, по его словам, не является «симулированной стратегемой, которую непостоянные Советы хотят использовать в своих хитроумных целях», и падение Тито не создаст условий для возникновения прозападного режима в Югославии. По мнению посла, в случае, если какая-либо антикоммунистическая группа попытается «заменить Тито», она столкнется с полным отсутствием действенного руководства, программ, фондов и т. д. Он также указывал на готовность Коминформы использовать любое ослабление секретного аппарата Тито, подчеркивая, что в Югославии есть только два выбора: либо Тито, либо орудие Москвы. Министр иностранных дел Британии Э. Бевин телеграфировал в Вашингтон, что он полностью согласен с К. Кенноном в том, что любая поддержка хорватских или сербских националистов «будет прямо играть на руку Советам» [13, p. 163]. В итоге Совет национальной безопасности вынужден был признать справедливость аргументации К. Кеннона и его британских коллег. Тем самым было косвенно признано, что «социалистический» путь развития Югославии не может быть прерван

насильственно и единственно возможный шанс для западных держав использовать возникшую ситуацию в своих целях — это нормализовать с ней отношения, оказать экономическую помощь с расчетом получить вслед за этим определенные уступки во внешнеполитической области. Трезвый учет американским руководством всей совокупности объективных обстоятельств позволил Дж. Кеннону добиться признания его идеи о необходимости «осторожной и ненавязчивой» поддержки Югославии, которая, несмотря на трудности в конгрессе, была, по свидетельству госсекретаря Д. Ачесона, «единодушно принята в госдепартаменте и Белом доме» [14].

В феврале 1949 г. госдепартамент подготовил следующий документ относительно политики США по отношению к Югославии. В основе курса сохранялась установка на поддержание доступными способами возникшего конфликта и его использование в интересах Запада. Было решено поставлять Югославии продовольствие и промышленное оборудование без ограничительных условий политического характера. В то же время госдепартамент подчеркивал решимость США продолжать политику, направленную на подавление партизанского движения в Греции, на его изоляцию от внешнего мира [15].

В начале 1949 г. возникли определенные противоречия между США и Великобританией по поводу методов скорейшего завершения гражданской войны в Греции. Англичане выступали за расширение англо-американского военного присутствия, американцы были против. В этих условиях были предприняты попытки найти политический выход из военного конфликта. В мае 1949 г. Белград посетил бывший глава британской военной миссии при штабе НОАЮ Ф. Маклин. В беседах с Тито, с которым у него были личные отношения, затрагивалась и греческая проблема. Тито проявил понимание сложности вопроса для западных держав и выразил готовность пойти на некоторые компромиссы. При этом он подчеркнул, что экономическое выживание Югославии зависит от помощи с Запада, кредитов и поставок товаров [13, р. 164].

В апреле 1949 г. Советский Союз предложил США и Великобритании план прекращения кровопролития в Греции, предусматривавший прекращение огня под наблюдением великих держав, всеобщую амнистию и новые выборы, что должно было привести к нормализации отношений Греции с северными соседями [16]. Э. Бевин предполагал обсудить советское предложение в контексте более широкой проблемы, связанной с отказом СССР от «политического и экономического давления на Тито», которому, как пишет Е. Баркер, «было бы позволено поддерживать свой „модус вивенди“ с западными державами и с Грецией» [13, р. 165]. Однако, в конце мая, после обсуждения советского предложения и уточнений Бевина британским и американским руководством было принято решение о продолжении военных действий, учитывая позицию Югославии и считая советское предложение попыткой оттянуть «коллапс греческой революции» [13, р. 165].

В августе 1949 г. Демократическая армия Греции в последних боях на Грамосе потерпела поражение, а ее остатки во главе с руководством КПГ ушли в Албанию. Югославские руководители, отводя обвинения Захариадиса и Москвы, возлагали вину на руководство повстанцев, которое, как подчеркивал в декабре 1949 г. Кардель, приняло участие в антиюгославской кампании, что и стало причиной их поражения [17, с. 102].

Это событие рассматривалось в Вашингтоне как успех американской политики в балканском регионе, которая с марта 1947 г. формировалась под влиянием «доктрины Трумэна» и была призвана остановить советскую экспансию в Восточном Средиземноморье, а также сохранить эти стратегически важные страны для западного мира, опираясь на широкую экономическую и военную помощь Греции и Турции.

Поражение греческих партизан усилило давление советского руководства на Югославию, которая обвинялась в сотрудничестве с США и Англией. Наряду с политико-пропагандистской кампанией против Югославии советская сторона проводила политику свертывания экономических отношений, принявшую во второй половине 1949 г. характер экономической блокады Югославии также и всеми странами «народной демократии». СССР мотивировал такую позицию враждебной политикой югославского правительства. Объем экономического обмена на 1949 г. советская сторона планировала уменьшить в восемь раз по сравнению с 1948 г. [4, с. 16]. Такая политика Сталина, стремившегося поставить югославское руководство на колени, вызывала обратную реакцию и заставляла Белград искать выход из тяжелой экономической ситуации в расширении экономических связей с США и другими западными странами. В свою очередь, Вашингтон, следуя первые полгода после начала советского давления на Югославию установке на «бдительное наблюдение», довольно быстро отреагировал на недальновидный советский ход и уже в феврале 1949 г. Совет планирования политики госдепартамента рекомендовал правительству отмену всех экономических запретов и ограничений в отношении Югославии и предоставление ей государственных и частных кредитов и займов [2, с. 76]. Переход от тактики наблюдения за развитием конфликта к поддержке югославского руководства (*keeping Tito afloat*) в рекомендованной госдепартаментом форме обозначился летом 1949 г. и определялся комплексом причин, среди которых основными были: дальнейшее углубление советско-югославской полемики, модификация югославской линии в отношении США и их союзников и изменение отношения к повстанческому движению в Греции. Уже в августе президент США Г. Трумэн одобрил продажу Югославии оборудования для сталелитейного завода, а в сентябре Экспортно-импортный банк США объявил о предоставлении кредита в 20 млн долларов для развития югославской горнорудной промышленности [18]. В декабре югославам были предоставлены займы на сумму 37 млн долларов от Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития [17, с. 100]. США рекомендовали снять ограничения на торгово-экономические отношения с Югославией также своим союзникам по НАТО и некоторым западноевропейским и латиноамериканским странам. Со своей стороны, Югославия приступила к заключению с рядом государств договоров о выплате компенсаций за национализированную собственность. С 1948 по 1951 гг. югославская сторона обязалась выплатить по заключенным договорам 93,4 млн долларов [19].

По мере углубления конфликта с СССР в югославском руководстве стали усиливаться тенденции к переоценке и пересмотру внешней политики страны, ранее односторонне ориентированной на Москву. В то же время югославское руководство не отказывалось от базисных принципов своей внутренней и внешней политики. На V съезде КПЮ (21-28 июля 1948 г.) была осуждена принятая в июне резолюция Информбюро, но вместе с тем в решениях съезда подчеркивались ведущая роль ВКП(б) в мировом рабочем движении и необходимость следовать опыту СССР во внутренних и международных делах. Югославия продолжала проводить на международной арене совместную с СССР и его союзниками внешнеполитическую линию, в частности, на совещании министров иностранных дел СССР и стран «народной демократии» в Варшаве в июне 1948 г., на Дунайской конференции в Белграде в июле-августе и на III сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре-декабре того же года [4, с. 16]. Как отмечал в своих мемуарах Э. Кардель, бывший в то время министром иностранных дел ФНРЮ, 1948 г. в отношении перспектив югославской внешней политики был еще не совсем ясен. «Мы старались не провоцировать Москву», — писал он. Однако, ретроспективно оценивая свою позицию главы югославской

делегации на осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1948 г., Кардель называет свое поведение позорным, поскольку он ни одним словом не упомянул на сессии о конфликте с СССР, в то время как, по его словам, «Москва вела себя так, будто Югославии вообще нет». «Мы в международном плане пытались еще показать, что по отношению к империализму у нас нет расхождений с СССР» [20, s. 140—141].

Но по мере нарастания конфликта, усиления советского политико-пропагандистского и экономического давления на Югославию позиция югославского руководства стала меняться. Практика отношений с СССР после марта 1948 г. осмыслялась, исходя из международного права, принципов межгосударственной политики, закрепленных в Уставе ООН. Это был первый шаг в сторону от сталинской идеологизированной внешнеполитической доктрины с приматом ревлюционного насилия. Бывший югославский дипломат Л. Матес отмечает, что, если в 1946—1947 гг. внешняя политика Югославии проводилась на основе чисто идеологических мотивов, то 1948 г. стал рубежом, когда перед руководством страны «был поставлен без всяких идеологических примесей вопрос защиты интересов страны». С этого года, по его словам, югославское руководство перестало смотреть на советскую внешнюю политику как на указующую и выступило в качестве независимого творца внешней политики независимой страны [21]. Вместе с тем, выступая против сталинского давления, Тито и его соратники стремились занять прагматическую позицию в отношениях с Западом, сохранив стереотип империализма как главного врага мирового пролетариата. Подобные установки были позже положены в основание доктрины неприсоединения, функционально выводившей Югославию из биполярного силового поля, но сохранявшей ее, несколько пересмотренные коммунистические идеалы. Очевидно, именно зарождение этой концепции имел в виду Кардель, когда утверждал в своих мемуарах, что в 1949 г. югославы создали свою концепцию внешней политики. На сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке он критиковал тогда существование блоков и сфер интересов, советское давление на Югославию и выступил за мирное сосуществование двух систем [20, s. 142]. Этой же осенью 1949 г. Югославия была избрана в Совет Безопасности ООН в качестве непостоянного члена. СССР резко протестовал, предлагая Чехословакию. Вышинский оценил выборы Югославии в Совет Безопасности как результат закулисной сделки, заключенной с нею США и их союзниками, и угрожал выходом СССР из ООН, если Ассамблея не пересмотрит своего решения [22, л. 225].

Драматизм югославской политической линии в годы конфликта состоял в значительной мере в том, что эта страна, представлявшая собой малую копию сталинской модели социализма, оказалась вне породившей ее системы и была вынуждена модифицировать свою внутреннюю и внешнюю политику как с учетом необходимости тесного взаимодействия с Западом, являвшимся гарантом безопасности Югославии, так и под воздействием развивающихся представлений о характере югославской революции и задачах «строительства социалистического общества». Двойственность такой позиции наложила сильный отпечаток на все последующее развитие Югославии.

Вторая половина 1949 г. стала переломным моментом в советско-югославском конфликте. В июле югославы закрыли границу с Грецией, ускорив в определенной степени поражение греческих партизан. 18 августа советская сторона выступила с резкой нотой протеста против мер, предпринятых югославскими властями в связи с неприятельской, как они ее трактовали, активностью русской белогвардейской эмиграции в Югославии. В советской ноте эти меры были названы насилием над советскими гражданами и в случае продолжения таких действий югославской стороной советское правительство вынуждено будет «прибегнуть к более эффективным средствам,



необходимым для защиты прав и интересов советских граждан в Югославии...» [23]. Как отмечала, в частности, британская печать, столь резкий язык ноты в обычной дипломатической практике должен был бы предшествовать разрыву дипломатических отношений [22, л. 37]. В дальнейшей эскалации конфликта сыграл свою роль зловещий процесс Л. Райка в Венгрии в сентябре 1949 г., на котором Тито и другие югославские руководители были названы агентами империалистических разведок, ведущими подрывную деятельность против СССР и стран «народной демократии» [24]. Ссылаясь на материалы этого процесса, Советский Союз 28 сентября обвинил Югославию в нарушении и фактическом разрыве советско-югославского договора о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве и заявил, что считает себя свободным от обязательств по этому договору [24]. Вслед за советским заявлением 30 сентября последовали аналогичные ноты Польши и Венгрии, 1 октября Румынии и Болгарии, 4 октября Чехословакии. Албания разорвала договорные отношения с Югославией еще 1 июля 1949 г. [22, л. 222]. В болгарском заявлении, в частности, затрагивался вопрос о федерации двух стран, но уже совершенно в ином плане. Болгарская сторона подчеркивала, что «заявления нынешнего югославского правительства относительно южнославянской федерации были лишь прикрытием, которое должно было облегчить не только захват Пиринского края Болгарии, но также и подчинение и порабощение нашей страны кликой Тито» [22, л. 211]. 25 октября советская сторона, со ссылкой на материалы процесса Л. Райка, потребовала отзыва из СССР посла Югославии К. Мразовича, а позже и югославского поверенного в делах [24].

29 ноября 1949 г. на совещании Информбюро в Будапеште была принята резолюция «Югославская компартия во власти убийц и шпионов», в которой утверждалось, что руководство Югославии установило в стране фашистскую диктатуру и является наймитом империалистической реакции. Борьба против него была объявлена одной из важнейших задач коммунистических партий, социалистических стран, всех прогрессивных сил в мире [25].

Подобное развитие отношений между Югославией и СССР убеждало правящие круги США и их союзников в правильности избранной тактики поддержки югославского правительства и заставляло их идти дальше в направлении расширения экономических контактов, постепенной нормализации всего комплекса взаимных связей. Объективно американская политика, несмотря на преследуемые ею цели отрыва Югославии от складывающегося «социалистического лагеря» и ослабления советского блока, способствовала поддержанию независимого югославского курса, помогла «сохранить» зарождавшуюся в этой стране оригинальную модель социализма от нивелирующего влияния сталинизма. В югославской историографии также высоко оценивается роль США в те годы, причем отмечается, что американская сторона, хотя и действовала, исходя из своих национальных интересов, в основе которых лежали антикоммунистические установки, в реальной политике продемонстрировала известную гибкость курса, поддерживав коммунистическую Югославию, борющуюся за национальную независимость.

Усиление советского давления на Югославию вызывало у американской дипломатии опасение, что эта балканская страна может стать жертвой агрессии. 10 сентября Совет планирования госдепартамента в анализе состояния советско-югославских отношений основное внимание уделил именно этому варианту развития событий. В документе подчеркивалась важность геостратегического положения Югославии с точки зрения глобальной американской политики и отмечалось, что потеря этой страной независимости вновь поставит проблемы югославо-греческих, югославо-итальянских отношений в связи с Триестом, и, главное, что беспокоило Вашингтон, обеспечит СССР выход к Адриатике [2, s. 80]. Разделив на четыре категории воз-

возможные действия СССР и его союзников против Югославии — от прямого вооруженного нападения до продолжения и интенсификации политического, экономического и психологического давления, с промежуточными вариантами, — сотрудники совета планирования предлагали несколько типов возможного реагирования. Предложения Совета включали возможность продажи оружия Югославии, предоставление различной помощи югославским вооруженным силам со стороны США и их западноевропейских союзников. В то же время, подчеркивая высокую боеспособность югославских вооруженных сил, Совет планирования не считал целесообразным прямое вооруженное вовлечение в эвентуальный военный конфликт сил США и НАТО, но предлагал в качестве основного рычага помощи Югославии использовать ООН [2, s. 80]. В остальном, в случае, если основными методами советского давления на Белград останутся политико-психологические и экономические, Совет предлагал продолжить предоставление ограниченной экономической помощи режиму Тито.

Однако американская администрация, приступив к частичной реализации рекомендаций госдепартамента, подвергалась критике со стороны сторонников жесткого курса по отношению к Югославии, в частности, министерства обороны, считавшего, что такое сближение с Югославией и возможное предоставление ей оружия противоречит принятой военно-стратегической концепции. Расширение экономической помощи Пентагон предлагал обеспечить жесткими условиями политического характера.

Обсуждение американской политики по отношению к Югославии было продолжено на совещании американских послов в Париже в конце октября 1949 г. Заместитель госсекретаря по европейским делам Дж. Перкинс просил собравшихся, среди которых находились известные дипломаты А. Гарриман, Ч. Болен, Д. Макклой и другие, послать в Вашингтон телеграмму с одобрением заключительной части документа, который был представлен Советом планирования политики в сентябре. В нем подчеркивалась необходимость, имея в виду углубление советско-югославского конфликта, расширения экономической помощи Югославии и продажи ей оружия. Перкинс подчеркивал на совещании послов, что телеграмма окажет помощь государственному секретарю и администрации в целом в аргументации своей точки зрения перед представителями Пентагона.

Отражением компромисса между сторонниками умеренной и жесткой линии явилось принятие Советом национальной безопасности и Объединенным комитетом начальников штабов во второй половине ноября решения об ограниченной продаже оружия Югославии, а в случае войны предоставления его в качестве безвозмездной помощи [2, s. 83]. В декабре президент Г. Трумэн заявил, что США являются противником агрессии или угрозы ее где-либо в мире, в том числе и по отношению к Югославии [26, p. 212—213]. Это было отмечено югославской стороной, в частности на III пленуме ЦК КПЮ в декабре 1949 г. В то же время в докладе Э. Карделя на пленуме прозвучало опасение, что СССР может в связи с советско-югославским конфликтом предложить США не вмешиваться в сферу своего влияния в обмен на более умеренную политику на международной арене. В известном смысле югославские коммунисты должны были ощущать тревогу, поскольку понимали, что они становятся в результате выпадения из советской орбиты чрезвычайно уязвимы и единственной их надеждой и опорой в случае каких-либо разногласий с новыми партнерами могла быть главным образом только ООН.

Более определенным стал во второй половине 1949 г. подход Британии и Франции к советско-югославскому конфликту. В начале полемики, осенью 1948 г., Лондон выжидал, поскольку не исключалось возвращение Тито в орбиту Москвы. Посол Франции в Югославии Ж. Пейяр рекомендовал французскому правительству проводить аналогичную линию [27, p. 47].

Спустя год в дипломатических кругах Лондона и Парижа стала формироваться новая установка с акцентами на различии, существующем между коммунизмом как глобальной угрозой существованию свободного мира и коммунистической страной, не являющейся проводником советской политики, к которой стали все больше относить Югославию. На британскую позицию оказывал влияние тот факт, что у власти в те годы находилось лейбористское правительство, в котором значительную роль играл Э. Бевин с его идеей осторожного подхода к югославскому режиму, который мог бы, после известной трансформации, войти в европейское сообщество. Экономическая помощь и политическая поддержка Югославии не должны были жестко обуславливаться. На этом настаивал и британский посол в Белграде Ч. Пик. Можно говорить о существовавшей в тот период единой, несмотря на некоторые различия, англо-американской точки зрения. Франция была менее активна в силу объективных причин, но разделяла многие положения югославской политики своих старших союзников.

Американская администрация предпринимала усилия в конце 1949 г. и в направлении нормализации греческо-югославских отношений, что по ее мнению укрепило бы безопасность Югославии, а также усилило в известной мере южный фланг НАТО. Возможно, что уже в то время американцы стали обсуждать планы включения Югославии в Средиземноморский пакт — довольно широкое объединение ряда европейских, ближневосточных и африканских стран средиземноморского бассейна, идея которого дискутировалась в госдепартаменте с подачи Турции в 1947—1948 гг. [9, р. 41—45]. К весне предполагаемый список членов планируемого союза был редуцирован до трех участников — Турции, Греции и Италии. Алгоритм разработанной в госдепартаменте задачи требовал подключения и Югославии [22, л. 70]. По свидетельству Карделя, во время пребывания югославской делегации в США на сессии ООН осенью 1949 г. американцы советовали ей как-то договориться с Грецией о нормализации отношений. Югославы сообщили американской стороне, что они готовы к этому только в случае прихода к власти в Афинах демократического правительства [28].

В марте 1950 г. югославская сторона начала переговоры относительно урегулирования проблемы национализированной американской собственности, не охваченной договором 1948 г. Это был еще один шаг навстречу США, поскольку в перспективе планировалось обратиться за крупными кредитами.

Много нового привнесло в югославские отношения с Западом начало корейской войны, когда югославская ситуация стала рассматриваться через призму возможного конфликта по типу дальневосточного. Белград был встревожен, тем более, что провокации на югославских границах стали постоянным фактором. Летом 1950 г. происходила значительная концентрация вооруженных сил в Болгарии и Венгрии вблизи югославской границы. После развязывания корейской войны в правящих кругах западных держав возникли предположения, что СССР, возможно, уже готов к развертыванию полномасштабной войны против США и западного сообщества. В этой связи президент США дал указание разведке обратить особое внимание на советскую активность в районах Северной Европы и Балкан. Французский МИД также выразил свою обеспокоенность советскими действиями в двух точках, особенно Берлине и Югославии [27, р. 133].

В связи с постигшей Югославию летом 1950 г. засухой и необходимостью снабжения населения югославское руководство обратилось в сентябре к американской администрации с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении продовольственной помощи. С целью зондажа обстановки в Белград приезжали тогда некоторые западные политические деятели, крупные коммерсанты [26, р. 218]. Тенденции к поддержанию Югославии в сложившейся

обстановке, с учетом всего комплекса факторов, стала укрепляться на Западе. Осенью того года Тито встречался с рядом американских конгрессменов. В октябре последовала телеграмма В. Поповича госсекретарю Ачесону, в которой подчеркивалось, что ущерб в 105 млн долларов, нанесенный югославской экономике засухой, можно покрыть лишь помощью из-за границы [26, р. 218]. Документ о целесообразности американской помощи Югославии прошел через госдепартамент и 30 октября был представлен на рассмотрение Совета национальной безопасности. Д. Ачесон, выступая перед дипломатами, подчеркнул, что «Тито не должен быть оставлен в ситуации, когда советское давление приведет к гибели Югославии и поставит ее в один ряд с сателлитами» [26, р. 220]. Ачесон аргументировал свою позицию, отмечая, в частности, что независимая Югославия «имеет деструктивное идеологическое влияние», «уменьшает коммунистическое давление на Австрию, Италию, Грецию и Турцию», является примером для коммунистической Европы; Югославия сможет либерализовать свою внутреннюю структуру. В американском ответе на югославский запрос о помощи, сохранились определенные условия, на которых США были готовы ее предоставлять. Югославия согласилась на то, что США будут наблюдать за получением и распределением помощи, вооружения, поступивших от США и их союзников, и не будет их передавать третьим странам. Кроме того, югославская сторона выразила готовность создать контрфонд в динарах для использования его по совету американцев на внутренние гуманитарные цели [26, р. 223].

Во время обсуждения программы помощи Югославии в конгрессе в ноябре 1950 г. значительная его часть выступила в поддержку решения администрации. В аргументации сторонников законопроекта часто подчеркивалось стратегическое значение одной из самых больших армий в Европе — югославской. В конце декабря конгресс одобрил «Закон о чрезвычайной помощи Югославии», который придал отношениям двух стран качественно новый характер. Несколько раньше британское правительство объявило о предоставлении на кредитной основе продовольствия и товаров югославской стороне на сумму 3 млн фунтов стерлингов [29].

В 1951 г. Югославия активизировала свою политику в отношении Запада. В январе 1951 г. югославская делегация, возглавляемая Джиласом и Ранковичем, отправилась в Лондон. Одной из ее задач было добиться предоставления, либо продажи оружия Англией. Делегация встречалась с К. Этли, Х. Ситон-Уотсоном, Г. Макмилланом и У. Черчиллем, который сказал Джиласу и Ранковичу: «Я чувствую, что мы по одну сторону баррикад» [10, р. 274]. О том, что Черчилль услышал в ответ, Джилас не сообщает, но в апреле на вопрос Трюгве Ли о причинах помощи греческим партизанам в годы гражданской войны он отвечал: «Революционный идеализм» [10, р. 277]. В феврале Великобритания и Югославия подписали новое соглашение о товарном обмене на несколько миллионов долларов, а в марте-апреле проходили англо-франко-американские переговоры в Лондоне о трехсторонней помощи Югославии. Югославская сторона не могла быть удовлетворена предоставляемой помощью, которая составляла пока десятки миллионов долларов, и стремилась получить ее в более крупных размерах, рассчитывая частично ее использовать для укрепления экономического положения. Как отмечает Вукманович-Темпо, занимавший в те годы министерский пост в правительстве, югославская сторона в тот период даже фальсифицировала некоторые отчетные документы, которые она по условиям договора должна была предоставлять США, чтобы иметь возможность переливать финансовые средства в развитие тяжелой индустрии [30]. В свою очередь, американская администрация, понимая сложность ситуации, в которой оказалась Югославия, готова была пойти на расширение помощи, но уже в тот, начальный период, предпринимала попытки, пока

еще осторожные, обусловить такую помощь определенными условиями. Так, 6 января 1951 г. в заявлении Д. Ачесона было подчеркнуто, что предоставление Соединенными Штатами помощи Югославии не означает одобрения ими действий югославского правительства, подавляющего религиозные, политические и экономические свободы [26, р. 236]. Летом 1951 г. С. Сульцбергер, американский журналист, близкий к правительственным кругам и выполнявший некоторые поручения американской администрации, в беседе с Джиласом сообщил ему, что сенат США сопротивляется предоставлению помощи из-за хорватского архиепископа А. Степинаца, заключенного в тюрьму. Сульцбергер рекомендовал отправить его в ссылку за границу [10, р. 285]. В ответ Джилас сообщил, что югославская Конституция запрещает высылать граждан из страны. Вскоре, однако, Степинац был выпущен на свободу.

К осени 1950 г. усиливается роль Британии и Франции в поддержке Югославии со стороны Запада. В октябре 1950 г. Бевин и председатель британской Торговой палаты Вильсон выступали в правительстве с просьбой предоставить Югославии еще один кредит, чтобы облегчить ситуацию в стране, вызванную недостатком продовольственных ресурсов [27, р. 187]. В то же время МИД Франции предпринимал попытки активизировать французскую политику по отношению к Югославии, в частности в вопросе оказания продовольственной помощи. Французская дипломатия также полагала, что у Франции больше возможностей в установлении доверительных контактов с Югославией, поскольку она, в отличие от Британии и США, не пытается оказывать на нее давление [27, р. 188]. В мае 1951 г., в период подготовки к трехсторонним переговорам, заместитель директора восточноевропейского департамента французского МИД Ж. Лалуа отмечал, что Франция должна внести реальный, а не на словах, вклад в западную экономическую помощь Югославии [27, р. 189].

Со второй половины 1951 г. западная поддержка Югославии существенно расширилась. В середине июня было подписано соглашение о помощи со стороны США, Франции и Великобритании на следующий финансовый год на сумму 150 млн долларов. В том же месяце Тито в беседе с американским послом Дж. Алленом сделал запрос о возможности получения от США вооружений, а уже в начале августа в США направилась югославская военная миссия для ознакомления с различными типами американской военной техники для перевооружения югославской армии [26, р. 240]. 14 ноября 1951 г. было заключено соглашение о военной помощи Югославии со стороны США. Оно включало также пункт о создании в Югославии американской группы по наблюдению за размещением вооружений. Югославская сторона подчеркивала накануне подписания этого соглашения, что его следует толковать не как договоренность о взаимной военной помощи двух стран, а лишь как одностороннюю американскую военную помощь [31].

Как было видно, главным югославским кредитором становились США, которые помимо прочего оплачивали югославскую готовность выполнять оборонительные функции Запада на Балканах. Уже в феврале 1951 г. разведка США высказывала предположение, что в случае военного конфликта между СССР и Западом Югославия не пропустит через свою территорию советские войска. Осенью того же года американские военные рекомендовали заключить с Югославией соглашение об обороне Люблянского прохода, а в середине 1952 г. была достигнута договоренность с Белградом о выполнении этой задачи силами трех армейских корпусов. Однако к более тесному координированию стратегических планов югославская сторона была не готова из-за нерешенной проблемы Триеста [27, р. 156].

Расширение американско-югославских контактов в военной области происходило на фоне усиления угроз со стороны СССР и стран «народной

демократии» в адрес Югославии. Американский делегат в ООН И. Купер заявил, что США озабочены ситуацией, когда семь государств советского блока противостоят уже более трех лет Югославии, что угрожает миру на Балканах. Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 1951 г. Э. Кардель также отметил угрожающий миру на Балканах и Югославии характер политики СССР. На завершающем этапе сессии была принята осуждающая политику СССР в отношении Югославии резолюция при поддержке США с соотношением голосов 50 к 5 [10, p. 285].

К середине 1952 г. американская помощь Югославии перешла на регулируемую основу путем ежегодного заключения соответствующих соглашений. Значительно расширились экономические связи Югославии с другими западными странами, в первую очередь, с Великобританией, Францией, ФРГ, Италией. США, используя свое влияние, способствовали организации помощи Югославии со стороны ООН и ее специализированных органов, Международного банка реконструкции и развития, некоторых американских банков, а также поощряли инвестиции частных компаний в югославскую экономику. В 1950 — 1954 гг. значительная часть помощи предоставлялась на безвозмездной основе, что позволяло американской администрации в определенной степени воздействовать на югославский внешнеполитический курс. После смерти Сталина, примерно со второй половины 1953 г. югославское руководство, ожидая менее агрессивной политики СССР в отношении Югославии, стало склоняться к необходимости завершения экономической помощи от США на безвозмездной основе. Тито трактовал такой тип отношений как зависимый, подчеркивая, что «без независимой внешней политики нет настоящей независимости» [10, p. 320]. Как отмечает Джилас, все югославское руководство согласилось «завершить эту помощь и тем самым нашу зависимость от Запада» [10, p. 321]. Однако в действительности перевод американской и западной помощи на кредитную основу произошел только во второй половине 50-х годов, что избавило Югославию от ряда формальностей, ограничивающих в известной мере ее суверенитет. В то же время США стремились сохранить столь существенный инструмент воздействия на югославскую внешнюю политику. К середине 50-х годов общая сумма только американских затрат (безвозмездная финансово-экономическая, продовольственная и военная помощь, а также кредиты) составила свыше 1,5 млрд долларов.

Начавшееся в 1949—1951 гг. сближение Югославии с Западом, а также обострение международной обстановки, вызванное войной в Корее, заставили американскую дипломатию усилить поиски средств для возможного противодействия давлению с севера в Восточном Средиземноморье. В качестве одной из задач было решено привлечь Югославию к западным военно-политическим союзам. США должны были считаться с особенностями международного положения Югославии, а также с позицией югославской стороны, избегавшей прямого военно-политического сотрудничества с западными державами. В таких условиях госдепартамент приступил к разработке планов косвенного подключения Югославии к военно-политическим блокам. Таким замыслом отвечала идея создания регионального союза в составе трех стран — Греции, Турции и Югославии. При этом участие в нем связанных с НАТО Греции и Турции должно было, по мнению западных стратегов, обеспечить достаточное влияние на югославскую внешнюю политику. Югославская сторона не возражала против участия в таком союзе, хотя в руководстве страны были люди, выступавшие за присоединение к НАТО, учитывая сложность международного положения Югославии. Однако возобладали мнение Тито и его сторонников, считавших союз с натовской системой неприемлемым по политическим причинам [20, s. 144].

США в начале 50-х годов стремились сблизить между собой участников будущего пакта, содействуя нормализации греко-югославских отношений и

большим контактам между Югославией и Турцией. Партнеры Югославии на переговорах пытались навязать ей такую концепцию союза, которая включала бы принятие всеми его участниками жестких обязательств военного характера. Югославская сторона стремилась избежать подобных обязательств, что ей и удалось на первом этапе создания пакта. Несмотря на давление США, в Анкарском договоре, подписанном 28 февраля 1953 г. Турцией, Грецией и Югославией, статья об обязанности оказывать взаимную военную помощь в случае агрессии против одного из участников отсутствовала. На последующем этапе США и Великобритания пытались использовать триестскую проблему для упрочения формальных связей партнеров внутри союза и расширения круга обязательств в нем Югославии. Югославская же сторона стремилась использовать заинтересованность США и их союзников в участии Югославии в формируемом военно-политическом пакте для урегулирования на приемлемых для себя условиях территориальных вопросов с Италией вокруг Триеста. С этой целью Белград сознательно обострил триестскую проблему осенью 1953 г. Американская дипломатия предлагала участникам союза расширить его за счет включения Италии, против чего, однако, возражали как Югославия, считавшая, что это усилит позиции Рима на переговорах по Триесту, так и Греция и Турция, относившиеся с определенным недоверием к итальянской политике в Восточном Средиземноморье. В итоге сложных переговоров и маневров американской и английской дипломатии в августе 1954 г. было подписано соглашение, превратившее союз трех балканских стран в военно-политический блок. Представляется, что достаточно рискованный политический маневр, выполненный югославской стороной, явился ценой, заплаченной за компромиссное решение триестского вопроса на приемлемых для Югославии условиях, зафиксированных в октябре 1954 г. в Лондонском меморандуме по Триесту. Почти сразу же после решения триестской проблемы, занимавшей одно из важных мест во внешней политике Югославии, руководство страны приступило к реализации задач, намеченных еще в начале 50-х годов, когда югославская дипломатия приступила к налаживанию контактов в ООН с представителями недавно освободившихся от колониального господства стран Азии и Африки. Это отвечало зарождавшейся югославской концепции, в которой государства третьего мира, объединившись, должны были в скором времени выступить на международной арене в качестве силы, противостоящей сверхдержавам и их блокам. Осенью 1954 г. Тито, как глава югославского правительства, отправился с визитом, продолжавшимся несколько месяцев, по странам Азии и Африки, устанавливая накануне Бандунгской конференции более близкие отношения с основными участниками зарождающегося движения неприсоединения.

В политике США и их союзников по отношению к Югославии Балканский пакт в середине 50-х годов стал инструментом, используя который они пытались влиять на внешнеполитический курс Югославии, ставя ее в положение страны, находящейся в тесном политическом, экономическом и военном союзе с Западом. Вместе с тем советская политика на международной арене в послесталинскую эпоху способствовала уменьшению напряженности в мире и заставила югославское руководство изменить свои внешнеполитические приоритеты. Югославия, не отказываясь от сотрудничества с партнерами в рамках пакта, стремилась к развитию его экономических и гуманитарных аспектов за счет военного сотрудничества, на сохранении которого настаивали Греция и Турция. Вскоре, однако, в результате обострения греко-турецких отношений из-за Кипра стали заметны симптомы кризиса пакта, который в конце 50-х годов фактически прекратил свое существование. С конца 1954 г. Югославия стала более активно идти навстречу советским инициативам по нормализации взаимных отношений. Развиваясь по восходящей, этот процесс завершился летом 1955 г. визитом

советской партийно-правительственной делегации в Белград и подписанием между двумя странами совместной декларации. Параллельно Югославия восстанавливала связи с другими «социалистическими» странами, что позволило ей укрепить свои позиции в отношении с западными странами. Дополнительные возможности в этом плане появились в результате включения Югославии в движение неприсоединения.

Вместе с тем США и их основные союзники, меняя свои подходы к Югославии во второй половине 50-х годов, справедливо полагали, что базисные для того времени идеологические различия между Югославией и другими странами «социалистического лагеря» не позволят восстановить связи между этими государствами до того состояния, которое существовало до 1948 г. Исходя из этого надежного, как им казалось, предположения, они пытались строить свою внешнеполитическую линию в последующие годы. Закреплению нового модуса отношения между Югославией и Западом, не исключавшего, особенно на первых порах, некоторой конфликтности, способствовало и объявление югославской стороной одним из элементов своей внешней политики принципа равной дистанции Югославии между основными блоковыми системами.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Алимурзаев Г. И.* Шит или меч? К истории советской военной доктрины. — *Международная жизнь*, 1989, № 4, с. 121.
2. *Mugoša D.* Sjedinjene američke države i Jugoslavenska 1948. — In: *Istorija XX veka*. Br. 2. Beograd, 1983.
3. *Tripković D.* Prilike u Jugoslaviji i Velika Britanija. 1945—1948. Beograd, 1990.
4. *Волков В. К., Гибианский Л. Я.* Отношения между Советским Союзом и социалистической Югославией: опыт истории и современность. — *Вопросы истории*, 1988, № 7.
5. *Аврамовски З.* Devet projekata ugovora o jugoslovensko-bugarском savezu i federaciji (1944—1947). — In: *Istorija XX veka*. Br. 2. Beograd, 1983, s. 91—124.
6. *Kuniholm B.* The origins of the Cold war in the Near East. Princeton, 1980, p. 304, 326.
7. *Улуян А. А.* СССР, страны народной демократии и революционное движение в Греции 1946—1950 гг. (к истории развития балканского кризиса). М., 1988, с. 9.
8. *Kondis B.* Aspects of greek-american relations on the eve of the Truman doctrine. — *Balkan studies*, 1978, vol. 19, № 2.
9. *Foreign relations of the United States. 1948. Vol. IV.* Washington, 1974.
10. *Dilas M.* Rise and fall. London, 1985.
11. *Жданов А.* О международном положении. Информационное совещание представителей некоторых компартий в Польше в конце сентября 1947 г. М., 1948, с. 13—48.
12. *Kijakić D.* General Markos. Zagreb, 1979, s. 208—209.
13. *Barker E.* The british between the super powers, 1945—1950. London, 1988.
14. *Acheson D.* Present at the creation. New York, 1970, p. 435.
15. *Sulzberger C. L.* A long row of candles. New York, 1969, p. 433.
16. *Шеменков К. А.* Греция: проблемы современной истории. М., 1987, с. 157.
17. ФНРЈ. Буџетска дебата. Експозени и говори. Београд, 1949.
18. *Keesing's Archiv.* 1948—1950. London, 1951, p. 10 232 С.
19. *25 godina socijalističke Jugoslavije.* Beograd, 1968, s. 264.
20. *Kardelj E.* Sećanja. Borba za priznanje i nezavisnost nove Jugoslavije. 1944—1957. Ljubljana; Beograd, 1980.
21. *Mates L.* Na marginama socijalizma. Zagreb, 1986, s. 254—257.
22. ЦГАОР СССР, ф. 4459, оп. 24, ед. хр. 726.
23. Правда, 1949, 21 VIII.
24. Внешняя политика СССР. 1949 г. М., 1953, с. 164.
25. Совещание Информационного бюро коммунистических партий. М., 1949, с. 23—29.
26. *Larson D.* United States foreign policy toward Yugoslavia, 1943—1963. Washington, 1979.
27. *Heuser B.* Western «containment» policies in the Cold war: The Yugoslav case, 1948—1953. London; New York, 1989.
28. *Sednice Centralnog Komiteta KPJ (1948—1952).* Beograd, 1985, s. 417.
29. *The New York Times*, 1950, 15 XI.
30. *Vukmanović-Tempo S.* Revolucija koja te će. Memoari. Knj. II. Beograd, 1971, s. 131.
31. Sporazum između vlade FNRJ i vlade SAD o vojnoj pomoci od 14 novembra 1951. — In: *Međunarodni ugovori FNRJ.* Sveska br. 1 za 1952 godinu. Beograd, 1952.





# СООБЩЕНИЯ

СЕГАЛ Д.

## SLAVICA HIEROSOLYMITANA, ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИЗРАИЛЬСКОЙ СЛАВИСТИКЕ

Настоящие заметки выросли из вступительного слова, произнесенного мною на конференции, посвященной творчеству Андрея Белого, которая была организована в феврале 1992 г. отделом славянских исследований Еврейского Университета в Иерусалиме в ознаменование 70-летия одной из заслуженных преподавательниц русской литературы в Израиле Ады Аркадьевны Штейнберг.

Есть нечто общее в картине славистики в Израиле и в теперешней России: неустроенность, неуверенность, волнение и сомнение. И там и здесь не знаешь, чем заниматься, и там и здесь стремительно растет число неустроенных во внешнем и внутреннем смысле славистов, и там и здесь резко сокращена инфраструктура славистики. Но за всем этим кроются, конечно, существенные различия: славистика в Израиле переживает кризис, не успев, в сущности, по-настоящему сложиться, и нынешнее состояние является промежуточным этапом на пути к стабилизации, обещающей славистике в Израиле, в лучшем случае, весьма скромный и в высшей степени провинциальный статус одной из интересных, экзотических и «малонаселенных» гуманитарных дисциплин; в России же, напротив, славистика распадается сейчас, но она никак не может забыть свое совсем недавнее весьма престижное и традиционно очень высокое место в гуманитарной иерархии (хотя и здесь история была свидетельницей абсурдных зигзагов), но распад этот временный, за ним последует возрождение славистики в России как одной из самых фундаментальных областей гуманитарного знания, хотя никому сейчас не дано знать, где, когда и в какой форме это возрождение состоится. Но в самом состоянии неуверенности, брожения и даже отчаяния есть нечто, будоражащее дух, заставляющее пристальнее взглянуть в нашу научную область.

Начнем с того, что в Израиле не было и нет славистики в том специальном и очень общем смысле, в каком она понималась в гуманитарных секторах Института славяноведения и балканистики, — как наука, занимающаяся *differentia specifica* языков, истории и культуры славянских народов, восходящих к одному общему, исторически зафиксированному корню. В рамках этого подхода внимание, естественно, направляется на некое аксиологически определяемое общее, на некую *суть* славянства, как бы эту *суть* ни понимали те или иные дисциплины или направления. В Израиле эта *суть*

славянства не является ни объектом научного интереса, ни предметом культурного притяжения. Израильская славистика представляет собою своего рода «генеральную ассамблею», на которой присутствуют внутренне не связанные между собою дисциплины. Более того, покамест не только сами дисциплины друг с другом не связаны, но и то, чем занимаются отдельные исследователи, определяется особенностями их личной и научной биографии, а не некоей логикой науки. Для наших исследователей общеславянский смысл не был нятен, а если все же просматривалось нечто общее, то, скорее, его можно было найти в занятиях той недавней социальной архитектурой, которую успели нагромоздить в России и славянских странах коммунисты и их попутчики.

Еще одно очень специфическое обстоятельство характеризовало и будет характеризовать израильскую славистику: научное и культурное внимание ко всем остальным славянским народам, помимо русского, — к их истории, культуре, литературе, быту, языкам — несопоставимо с постоянным интересом, горячей любовью и хозяйским отношением к русской культуре, литературе и русской судьбе, которые вплоть до сегодняшнего дня отличают все израильское общество, а не только его происходящую из России часть. Я отдаю себе отчет во всех возможных последствиях такого высказывания — как в сегодняшней России со всем, что поднимается в ней, так и в Израиле, но ... *magis amica veritas*. Эта особая асимметрия и совершенно особый статус русской культуры и всего русского в Израиле (могущий вызвать даже, в частности, у пишущего эти строки, определенное беспокойство — впрочем, лишь при встрече с некоторыми бывшими соотечественниками!) совсем не связаны с относительным весом еврейского населения, вышедшего из той или иной славянской страны в общем населении Израиля, ибо удельный вес русской культуры в общей картине израильской культуры всегда значительно превышал долю выходцев из России в населении страны. Такая роль русской культуры в становлении другой и совершенно далекой от нее национальной культуры не находит себе прецедента в картине процессов культурных взаимодействий и влияний нового времени. Более того, речь, конечно, идет не о влиянии всей многогранной системы русской культуры во всей ее хронологической сложности, а об интериоризации и присвоении той картины русской культуры, как они сложились в умах определенных кругов молодых евреев, усвоивших русскую грамоту и живших собственно еврейской культурой, как она бытовала в черте еврейской оседлости в конце прошлого — начале нынешнего века.

Соответственно, очень недолгая история славистики в Израиле не эквивалентна истории тех или иных отдельных славистов, оказавшихся в Израиле, а выстраивается на базе той внутренней необходимости осознать корни собственного духовного существования, необходимости, которая не сразу, а понемногу и очень постепенно стала осознаваться в израильском еврействе. Что же касается культуры и истории других славянских народов, то такая внутренняя необходимость пока не настала, и исследования по этой части славянства еще должны ждать своего времени. Это произойдет не скоро, поскольку еврейство всех остальных славянских стран (кроме Болгарии) было почти полностью уничтожено, а до и после этого — включая и настоящий момент — отношение к евреям там было окрашено разными оттенками ненависти, замалчивания, отрицания и проч. Отмечу в этой связи, что среди всех общин выходцев из славянских стран лишь община болгарских евреев до сих пор ощущает болгарскую народную фольклорную культуру как часть своей культуры (до сих пор существует хор болгарских евреев им. Цадикова, исполняющий болгарские народные песни на болгарском языке). Подобного явления нет даже среди бывших российских советских евреев — русские и украинские народные песни поются на иврите и не русскими евреями, а израильтянами.

Те исследования по славистике, которые появились в Израиле, касаются истории и поэтики русской литературы, русской и советской истории, истории международной политики Советского Союза на Ближнем Востоке, филологии и текстологии старославянских переводов древнееврейских текстов. Как я уже отметил, у нас нет исследования по истории, культуре и литературе других славянских народов, даже их политическая история новейшего времени в связи с еврейскими и израильскими проблемами привлекала внимание ученых в самой минимальной степени (есть одна работа по истории Болгарской коммунистической партии в Коминтерне, есть что-то о процессе либерализации в Венгрии — и все!). Причины этому, помимо уже отмеченных, следует искать во внешних обстоятельствах становления гуманитарных наук в Израиле: не завершившегося и по сей день, равно как и во внутренней динамике взаимодействия еврейской культуры в целом и израильской ивритской культуры и истории с историей и культурой славянства.

Но сначала следует сказать вкратце о тех внешних обстоятельствах которые определили сравнительно позднее появление славистики в Израиле. Начну с самых основных и определяющих фактов. Земля Израиля в 20—30-е годы (а Еврейский Университет в Иерусалиме был открыт лишь в 1925 г.) — это территория бедная и суровая, где первоначально вообще не было места для гуманитарных поисков, а когда они появляются, то полностью сосредоточиваются на проблемах иврита, литературы на иврите, истории еврейского народа и, главным образом, истории и археологии Израиля. Культурологические исследования — это классическая филология немецкого типа. Филологов в Еврейском Университете тогда насчитывались единицы, и все они занимались текстами эпохи античности и эллинизма. (Следует вспомнить в этой связи имя замечательного исследователя средневековой еврейской философии на арабском языке Шломо Пинеса, ценителя русской культуры, сделавшего многое для ее бытования в Израиле в 70-е годы.) Эти люди были прежде всего знатоками текстов, комментаторами, открывателями и издателями неизвестных старинных сочинений. Такой же путь прошел и нестор нашей славистики Моше Альтбауэр, первооткрыватель и исследователь старославянских рукописей самого древнего периода из монастыря св. Катерины на Синайском полуострове и непревзойденный знаток средневековых еврейских переводов из «ТанаХ» на старославянский язык («ТанаХ» — первые буквы еврейского названия Священного Писания «Тора, Неви'им, Ктувим» — «Тора, Пророки, Писания»).

Не буду вдаваться в последующую историю того, как из филологии вычленилось языкознание, поскольку Ада Аркадьевна Штейнберг — литературовед, и именно эта дисциплина лежит в центре моего внимания в связи с нею. Художественная литература стала изучаться в Израиле приемами научного литературоведения лишь начиная с 70-х годов, а до этого преимущественно к древней и средневековой литературе можно было говорить лишь о филологии, а в остальном господствовал эссеистический подход, для русского читателя более всего знакомый по классическим именам Белинского, Михайловского, или — в другой традиции — Юлия Айхенвальда. Это не значит, что, начиная с того момента, когда в израильских университетах стали преподавать еврейскую литературу нового времени (с конца 50-х годов, причем тогда речь шла только о Еврейском Университете и только об английской литературе), люди, занимавшиеся этим, не использовали, каждый сообразно своему вкусу и исследуемому материалу, те или иные подходы, открытые ими. Иногда такие открытия происходили задолго до того, как они были сделаны в других местах и приводили к неожиданным и замечательным результатам.

Так, первое на Западе обсуждение основ русской формальной школы в литературоведении и признание ее основоположной значимости для теории

литературы содержалось в знаменитой в свое время книге Адама Мендилова «Время в романе» («Time and the Novel»), опередившей в этом плане яacobсоновское обсуждение идей Проппа лет на шесть-семь (книга Мендилова вышла в Лондоне в 1951 г.). Берусь утверждать, что никто из читавших эту работу не знал, что ее автор был преподавателем английской литературы в Еврейском Университете в Иерусалиме.

Обратим, впрочем, внимание на тот факт, что книга молодого тогда Мендилова была напечатана в Лондоне, а не в Иерусалиме. В самом Израиле подход к художественной литературе, особенно к новой, был совершенно «потребительским». Люди смотрели на всю литературу — ивритскую, польскую, французскую, русскую, английскую — как на *свою* литературу, воспринимая ее в двух плоскостях: приватно, на том языке, на котором она была написана, и в плане социально-культурном, после выхода в свет перевода той или иной книги на иврит — как факт ивритской литературы. Поэтому тогда казалось совершенно естественным рассматривать «Евгения Онегина» в переводе на иврит Авраама Шлонского как некое самостоятельное произведение ивритской литературы («еще и лучше, чем по-русски»). Так, критические статьи, например, о Льве Толстом могли быть написаны авторами, знакомыми с его произведениями только в переводе.

Поэтому исследование русской литературы в Израиле должно было в своем зарождении пройти через призму того особого восприятия русской литературы, о котором уже говорилось выше. Следует отметить, что восприятие это все-таки носило особый характер. Особость эта проистекала из стечения исторических обстоятельств: ядро еврейской идеалистической молодежи, впитавшей идеи сионизма и приехавшей в Землю Израиля строить новое еврейское государство и создавать новый еврейский народ, было воспитано на русской литературе и поэзии, считало их своими и прочно усвоило идеалы русской интеллигенции. Поэтому Базаров и Ростовы, братья Карамазовы и дама с собачкой, отец Сергей и Нехлюдов — все они совершенно органично и без какого бы то ни было культурного напряжения вошли в мир молодой ивритской культуры. Справедливости ради следует упомянуть и о том, что в 40-е годы такую роль играли стихи К. Симонова военной поры и особенно роман Александра Бека «Волоколамское шоссе». Но те евреи, которые принесли все это в Израиль и которые жили этим, не стали филологами или гуманитариями.

Первые подвижники на этом поприще пришли в Израиль из другого мира — из мира так называемой первой русской эмиграции. Сейчас, в посткоммунистической русской печати определенного толка приходится иногда читать как нечто «само собою разумеющееся», что, дескать, эта первая эмиграция, бежавшая от большевиков, была «народной» в том смысле, что среди нее не было евреев, а вот третья и теперешняя, четвертая эмиграция — не «народная», а целиком еврейская. Спорить с этим очевидным абсурдом не имеет смысла, хотя стоит напомнить, что после окончания гражданской войны в России к эмиграции, бежавшей на Запад и включавшей в себя довольно большое количество еврейско-русской интеллигенции, присоединились своего рода «неподвижные эмигранты» из России: более миллиона евреев из бывшей Российской империи, очутившиеся в толкно что получивших независимость странах Прибалтики и Восточной Европы. Уж если кто и был «народом», так эти люди, многие из которых получили образование на русском языке и были привязаны к русской культуре. Именно в этой среде распространялись периодическая печать и издательская продукция русской эмиграции, именно эта среда поддерживала русских писателей и деятелей культуры за рубежом, именно в ней развилась идеология и практика сионистской работы в Земле Израиля, именно на нее обрушились удары советской тайной полиции после того, как эти территории были насильственным образом коммунизированы в 1939—1940 гг.

К этой среде принадлежали две женщины, которые — в разное время — смогли приехать в Землю Израиля и чья деятельность послужила основанием израильской славистики: Лея Гольдберг, замечательная ивритская поэтесса, в 50-е годы преподававшая в Еврейском Университете русскую литературу на иврите и ставшая первым профессором сравнительного литературоведения, и Ада Штейнберг. Ада Аркадьевна родом из русскоязычной еврейской общины юга России. Ее семья обосновалась после революции в тогда румынском Кишиневе, где Ада получила традиционное дореволюционное русское образование. После второй мировой войны, которую она провела в эвакуации в Советском Союзе, Ада Аркадьевна вместе с мужем, принадлежавшим к поколению настоящей довоенной западной космополитической еврейской интеллигенции, смогла уехать в Румынию, откуда в 60-е годы, после долгих лет отказов и ожидания, ей удалось переехать в Израиль. В Израиле А. Штейнберг стала ученицей и коллегой Леи Гольдберг и начала преподавать русскую литературу уже систематически.

Люди этой, пореволюционной эмиграции из России, оказавшись в Израиле, принесли с собою не только свое понимание русской литературы, но и свои, особые мировосприятие и образ культуры. Их литературные вкусы оказались в большой мере сформированными русским «серебряным веком», они были лишены той манеры «само собой разумеющегося» отношения к литературе, которая являлась свойственной выходцам из России более раннего и более позднего «призыва»; они, как правило, блестяще владели многими европейскими языками, наконец, и в бытовом плане, принадлежали той замечательной европейской культуре, которой уже давно не было в России и которая постепенно исчезала и в Европе: всем им, и Аде Аркадьевне в особенности, присуще абсолютно органическое чувство воспитанности, толерантность, чувство подлинного равенства, настоящий демократизм, идеальный вкус — в то время, как даже среди самых замечательных интеллигентов советского или досоветского поколений, живших в Советском Союзе, процветали, к сожалению, снобизм, круговая порука, нетерпимость, невоспитанность и самый обыкновенный дурной вкус.

Надо признать и тот факт, что жить им в Израиле (а до его образования — в подмандатной Палестине) было в высшей степени тяжело. И речь идет не только о внешних тяготах бедности и вечного безденежья или об общих страданиях, связанных с арабским террором, войной, Еврейской Катастрофой, но и об очень трагическом, иногда совершенно безысходном внутреннем ощущении многих из этих людей, которым их опыт говорил, что мир культуры, мир европейской цивилизации безвозвратно погиб. Не всегда их внутренний мир был внятн для руководителей тогдашнего палестинского еврейства, иногда приходилось откладывать занятие любимым делом на долгие годы, возможно навсегда. Порою казалось, что уже ничем невозможно будет высветить надвигающийся мрак нового всеобщего оледенения. Но, в отличие от своих друзей в России, Германии, Франции или Польше, эти последние российские интеллигенты в Израиле были избавлены от самого страшного: от тотальной экзистенциальной враждебности со стороны окружающей среды. Напротив, они черпали силу в сознании того, что теперешняя суровая и во многом опростившаяся молодежь, вынужденная днем подрывать здоровье непосильным физическим трудом, а ночью не спать, сторожа свои дома с оружием в руках, когда-нибудь вернется ко всему, чего она теперь лишена — к музыке, к стихам и к науке.

В этой связи кажутся знаменательными строки из частного письма, отправленного осенью 1938 г. (сразу после печально знаменитой «Kristallnacht» в Германии) из Тель-Авива русским еврейским философом и деятелем культуры Евсеем Давидовичем Шором другу в Швейцарию: «Помрачнение духовного горизонта, совпавшее с началом 20-го века и принявшее столь зловещие масштабы в наши дни, заставило уйти в ката-

комбы немногих настоящих людей духа, которые надеются там сберечь свет для грядущих поколений. Так образовалась невидимая община, не имеющая ни твердой формы, ни облика, ни устава, ни орденских правил, община, члены которой разбросаны по всему свету; они узнают друг друга по некоему скрытому знаку, по тому, как появляется в их присутствии потаенный свет, чье слабое мерцание лишь на краткий миг прорезает окружающий мрак. ... В далеком краю, чье горячее дыхание сопровождает Вас, где бы Вы ни были, уже несколько десятилетий совершается чудо: здесь сдвинулись с места вековые скалы, пустыня зажила новой жизнью с возвращением ее старых обитателей, и новый дух воспрял к жизни. Движимые тоской по своей старой отчизне и воодушевляемые идеалом справедливой жизни, еврейские юноши и девушки своими руками построили новую Палестину».

В этих словах поражает сочетание крайнего отчаянья и полной энтузиазма надежды. Можно с полным основанием сказать, что эта особенная эмоциональная атмосфера характерна для всего строительства Израиля, в том числе и для того скромного, но в высшей степени важного аспекта этого строительства, который связан с возникновением в Израиле русских исследований.

В доме А. Штейнберг можно было встретить замечательных ученых и деятелей культуры, занятых строительством Израиля, а также зарубежных друзей нашей страны. Там бывали композитор, писатель и общественный деятель Николай Набоков (двоюродный брат писателя), философ и государственный деятель Исая Берлин, литературовед и философ Клод Виже, лингвист Хаим Бланк, историк философии Шломо Пинес. Там царил особая атмосфера любви к культуре (и, в частности, к русской культуре) и к Израилю.

В конце концов, эта атмосфера должна была способствовать и конституированию израильской русистики и славистики как научных дисциплин. Совершенно ясно, что в ходе данного процесса многое из того, что делалось и делается в этих областях за пределами Израиля, должно было стать основой этих дисциплин. Так, в частности, многие из их развития в нашей стране сделали незабвенные Роман Осипович Якобсон и Кристина Юльевна Поморская, бывшие у нас с визитом в 1976 г. по случаю присуждения Р. О. Якобсону звания почетного доктора Тель-Авивского университета. Важную роль сыграл приезд замечательного историка и большого друга Израиля проф. Омельяна Прицака из Гарварда.

Огромен вклад в формирование традиции изучения истории русской литературы в Израиле и в обучение студентов двух наших старейших, ныне здравствующих и активно работающих коллег — Виктора Давидовича Левина и Ильи Захаровича Сермана, прекрасно вписавшихся в жизнь Израиля, создавших здесь новую научную среду и нашедших у нас новые стимулы научного творчества. Хочется с благодарностью вспомнить и двух талантливых более молодых ученых, посвятивших работе в израильской славистике несколько самых плодотворных лет своей научной деятельности — Омри Ронена и Лазаря Флейшмана, ныне работающих в Америке.

Но закончить хочется не мажорным реестром бывших и настоящих успехов — а они, несомненно, есть — а размышлениями более минорного плана. Мне кажется, что израильская славистика должна будет когда-нибудь спуститься, так сказать, с облаков на землю. Я имею в виду занятия славистическими проблемами, существующими у нас «под боком». На Земле Израиля жили и живут сотни тысяч евреев, непосредственно соприкоснувшихся со славянским миром и несущих традиции этого контакта, длившегося сотни лет. Подлинная задача славистики в Израиле, которую за нас не решит никто, состоит, по моему мнению, в том, чтобы изучить историю этих контактов, включая их реинтеграцию в новую ивритскую культуру.

Процесс этого изучения труден, поскольку уничтожены и по сей день продолжают уничтожаться любые следы пребывания евреев в странах Восточной Европы, поскольку не хватает средств и сил для спасения еврейских архивов, библиотек, памятников культуры, кладбищ, синагог, зданий ешибот, еврейских гимназий. Не хватает сил и средств для фиксирования и изучения всех культурных процессов, которые происходили в результате соприкосновения славянских культур с культурой Израиля на самой Земле Израиля. Процесс создания настоящей израильской славистики труден и в субъективном плане, поскольку происходящее в настоящий момент изменение статуса славистики в славянских странах несомненно повлияет и на то, что будет происходить у нас, и каким это влияние будет — сейчас никто не может сказать.



РЕШЕТНИКОВА О. Н.

## Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВ ГЛАЗАМИ БОЛГАРСКОЙ ПОЛИЦИИ

Среди недавно возвращенных имен, принадлежащих нашей истории, стоит имя Федора Федоровича Раскольников — революционера, военачальника, журналиста, писателя, дипломата — человека, в конечном счете, трагической судьбы. Историкам еще предстоит воссоздать его правдивый портрет, лишенный ореола мученика, проанализировать и дать объективную оценку его деятельности. Пока опубликованы лишь первые работы, характеризующие главным образом его участие в революции и гражданской войне [1]. Недавно читатели смогли познакомиться с воспоминаниями жены Раскольникова, доньне здравствующей в Страсбурге [2]. Однако, как оказалось, еще более 50 лет назад один из периодов жизни Раскольникова, а именно в качестве полпреда СССР в Болгарии, получил самое детальное освещение ... в отчетах агентов болгарской политической полиции. С первых его шагов на болгарской земле они постоянно следили за ним, Дирекция политической полиции вела на него досье и регулярно поставляла информацию о советском полпреде болгарскому правительству. Эти документы, безусловно, не позволяют глубоко и всесторонне оценить дипломатическую деятельность Раскольникова в Болгарии. Тем не менее они представляют несомненный интерес прежде всего потому, что помогают почувствовать атмосферу тех лет, воссоздать условия, в которых приходилось работать советскому полпреду, дают возможность увидеть Ф. Ф. Раскольникова глазами болгарской полиции.

Предлагаемый документальный очерк основан на еще не опубликованных материалах 1934—1936 гг. фонда Дирекции политической полиции Центрального государственного исторического архива Болгарии.

Ф. Ф. Раскольников получил назначение в Болгарию в августе 1934 г. Ему предстояло быть первым советским полпредом в стране, народ которой хранил глубокую и искреннюю любовь к России-освободительнице, в то время как правящие круги 17 лет отказывались признать Советское государство. Новому этапу в истории советско-болгарских отношений положило начало пришедшее к власти 19 мая 1934 г. правительство К. Георгиева, которое установило дипломатические отношения с Советским Союзом 23 июля.

---

Решетникова Ольга Николаевна — канд. ист. наук, научный сотрудник Института российской истории РАН.



Советско-болгарское сближение, отвечавшее внешнеполитическим интересам двух стран, было многообещающим. За короткий срок обоюдными усилиями сторон были созданы хорошие перспективы для развития политических, экономических и культурных связей. Ставя перед Раскольниковым задачу добиться реализации открывшихся благоприятных возможностей, наркоминдел М. М. Литвинов подчеркивал, что возлагает на него большие надежды [3].

Раскольников с женой Музой Васильевной прибыл в Софию 19 ноября 1934 г. Кроме тех, чье присутствие предусматривалось протоколом, советского полпреда встречали представители французской миссии и болгарские друзья Раскольниковых — супруги Балабановы и профессор И. Странски. На перроне среди встречавших занял свое место один из сорока агентов политической полиции, на которых отныне было возложено не только неусыпное наблюдение за каждым шагом советского полпреда, но и обыск его багажа, прослушивание телефонных разговоров, перлюстрация корреспонденции, слежка и составление досье на всех граждан, вступавших в контакт с ним и другими советскими дипломатами, вербовка информаторов среди обслуживающего персонала советского полпредства.

«Заботами» Дирекции полиции София казалась безучастной к приезду советского полпреда. Чтобы не допустить изъятия симпатий (о подготовке массовых демонстраций полиции было известно), в городе организовали усиленное патрулирование, блокировали улицы, ведущие к железнодорожной станции, разгонялись даже небольшие группы граждан. Несмотря на принятые меры, незадолго до прихода поезда в садике напротив вокзала все-таки собралось около 30 человек (как потом выяснилось, студентов и рабочих), чтобы приветствовать долгожданного представителя Советского Союза. Им было приказано разойтись, а сопротивлявшихся доставили в полицейский участок.

В окружении многочисленных фоторепортеров чета Раскольниковых направились в отель «Болгария», где советскому полпреду предстояло жить до завершения ремонта здания советского полпредства в центре Софии на улице Московской, напротив храма Александра Невского. Раскольниковы заняли небольшой номер, которому почти полгода надлежало служить приемной советского полпреда.

Вечером в салоне отеля Раскольников дал свое первое интервью болгарским журналистам. Он поблагодарил за теплый прием: «Среди вас я чувствую себя как среди родных». Рассказал о себе: «У меня две профессии: дипломат и литератор». Писательская деятельность началась в 1910 г., сотрудничал в газетах «Звезда» и «Правда», написал инсценировку романа Л. Н. Толстого «Воскресение», которая была поставлена в январе 1930 г. в МХАТ В. И. Немировичем-Данченко при участии В. Качалова, О. Книппер-Чеховой, К. Еланской. Затем была написана пьеса «Робеспьер», с успехом шедшая в крупнейших театрах страны. Издал первый том своих рассказов, сейчас готовится второй, идет работа над исторической новеллой из эпохи 100 дней Наполеона. Член Союза советских писателей.

Восторг собравшихся вызвало сообщение Раскольникова о том, что он приступил к изучению болгарского языка: «Я имею большое желание выучить ваш язык. Уже читаю болгарские газеты».

«Я приехал как друг Болгарии, — сказал советский полпред. — Моя первая задача — возобновить и укрепить культурные связи между Болгарией и СССР. Но этим не ограничивается моя работа». Необходимо развивать экономические отношения, кроме того, установление сердечных отношений между двумя странами будет служить укреплению всеобщего мира.

На следующий день болгарские газеты пестрели многочисленными фотоснимками четы Раскольниковых, журналисты единодушно отмечали, что советский полпред с супругой произвели прекрасное впечатление элегантной одеждой и изысканными манерами. Особо подчеркивались слова Раскольникова о его намерении изучить болгарский язык и о том, что советские

люди с чувством большого удовлетворения встретили установление дипломатических отношений между Советским Союзом и Болгарией. Журналисты как будто соревновались, кто больше успел узнать о Раскольникове. Болгарские читатели были проинформированы, что советский полпред родился 28 января 1892 г. в Петербурге в семье протоиерея и дочери генерал-майора, имеет высшее образование, до назначения в Болгарию работал полпредом в Афганистане, Эстонии и Дании, его вторую жену зовут Музой — и бесконечные каламбуры о союзе с Музой, которая денно и нощно вдохновляет его творчество. Новой темой софийских светских салонов стало обсуждение туалетов мадам Раскольниковой, количества привезенного багажа и даже покупка Раскольниковым цилиндра в связи с предстоящим визитом к царю.

Информация болгарских журналистов была бы значительно полнее, имей они возможность познакомиться с биографией Раскольникова, подшитой к тольکو что начатому полицейскому досье на советского полпреда. В ней нашло отражение все то, о чем Раскольников, разумеется, не след нужным сообщать бойким репортерам. В Дирекции полиции знали, что Раскольников 18-летним студентом экономического отделения Петербургского политехнического института вступил в большевистскую партию, занимался нелегальной революционной деятельностью, прошел тюрьму и ссылку. В годы первой мировой войны закончил Отдельные гардемаринские классы, готовившие офицеров корабельной службы. Возглавлял фракцию большевиков Кронштадского Совета рабочих, матросских и солдатских депутатов, с ноября 1917 г. был комиссаром Морского генерального штаба, с лета 1918 г. — членом Реввоенсовета Восточного фронта, командующим Волжской военной флотилией, затем Балтийского флота. Награжден двумя орденами Красного Знамени.

Располагая данными о революционном прошлом советского полпреда, руководство полиции предписало своим агентам в нарушение дипломатического иммунитета с особой тщательностью обыскать багаж Раскольниковых — искали запрещенную к распространению в Болгарии революционную литературу. Таковой не оказалось. Раскольников не посчитал возможным привезти в Болгарию даже все свои книги, а он был автором не одного сборника рассказов, а нескольких, таких как «Кронштадтцы», «Кронштадт и Питер в 1917 г.», «Рассказы комфлота», «Рассказы мичмана Ильина».

В день официальной церемонии вручения верительных грамот, 23 ноября, улицы, ведущие к царскому дворцу, были полны народа — жители Софии приветствовали главу советской дипломатической миссии. Полиция сбилась с ног, разыскивая распространителей листовок с лозунгами «Да здравствует революционер Раскольников! Да здравствует советская Болгария!». Все болгарские газеты напечатали статьи с одобрением сближения Болгарии с СССР. Правительственный официоз — газета «Ла Бюлгари» 28 ноября писала: «Редко иностранный дипломат принимается у нас с таким интересом и такой живой симпатией, как полпред Советского Союза. И эти симпатии в равной степени относятся как к личности Раскольникова, так и к представителю братского народа, который занимает в наших душах и сердцах, в нашей общественной и культурной жизни огромное место...»

Начались рабочие будни. Бесконечная череда официальных визитов и неофициальных встреч — поразительная активность советского полпреда стала предметом разговоров в дипломатическом корпусе. «Ненормальный масштаб визитов» отметил в своем отчете полицейский информатор [4, а.е. 432, л. 1]. В первую очередь советский полпред нанес официальные визиты дипломатическим представителям Чехословакии, Греции, Турции, Италии. В конце 1934 г. наблюдатели отмечают особенно частые контакты Раскольникова с представителями албанской миссии (17 сентября были установлены советско-албанские дипломатические отношения).

Очень скоро Раскольников познакомился со всеми членами болгарского правительства, с достаточно широким кругом болгарской творческой ин-

телигенции. С первых дней своего пребывания в Болгарии Раскольников частый гость ректора Софийского университета, посещает университетскую библиотеку, интересуется наличием советских книг, обещает содействие в пополнении фонда советскими изданиями.

Раскольников довольно быстро овладел болгарским языком и сейчас же загорелся идеей перевести на русский особенно полюбившееся из болгарской литературы с намерением опубликовать перевод в Москве. Особенно нравились ему стихи Христо Ботева, многие из которых он впоследствии перевел.

Раскольников не жалел времени для знакомства с Софией — город понравился ему своим живописным расположением, уютными улицами, обилием цветов и зелени. С приобретением «Кадиллака» Раскольников стал совершать поездки по стране — только за первые четыре месяца своего пребывания он посетил 20 городов и множество сел. Особый интерес у него вызывали болгарские монастыри и церкви, хранившие шедевры болгарской средневековой иконописи, и памятники, воздвигнутые в честь русских воинов-освободителей, участников русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Монастырская книга одного из Люблинских монастырей хранит запись, сделанную рукой советского полпреда: «Приехал из России, где уничтожены давно все монастыри и церкви. С особенной радостью посетил и посещаю святые обители, где, как когда-то и на моей родине, теплится истинная христианская вера на радость и утешение народу. Молю Бога о вечном существовании Вашей обители» [4, а.е. 432, л. 143]. Игумен монастыря Св. Крал, предоставивший Дирекции полиции монастырскую книгу, сообщил, что Раскольников неоднократно бывал в этом монастыре и каждый раз, входя в церковь, неизменно зажигал свечу и крестился. Этот факт вызвал большое недоумение у руководства полиции, хотя там вряд ли знали о том, что в автобиографии, написанной в 1913 г., Раскольников отмечал: «Формально я крещен по обряду православного вероисповедания, но фактически уже около 10 лет являюсь решительным и безусловным атеистом. Разумеется, никогда не говею и никогда не бываю в церкви» [1, с. 6]. Поведение Раскольникова никак не соответствовало образу «революционера», который сложился у болгарских властей на основе предварительного знакомства с биографией советского полпреда.

Отношение Раскольникова к церкви, к историческим памятникам, как свидетельствуют полицейские документы, явилось полной неожиданностью и для русской эмиграции, с тревогой ожидавшей прибытия представителя большевистской России — безбожника и разрушителя памятников старины. Еще летом 1934 г. к болгарскому министру иностранных дел обратился Управляющий совет союза русских ветеранов освободительной войны 1877—1878 гг. в Болгарии, который высказал пожелание оставить русскую православную церковь, сооруженную еще миссией царской России, в распоряжении русской православной колонии, а также просил заступиться и не допустить уничтожения русских памятников в Болгарии, этих «исторических свидетелей русской военной славы и благородных международных традиций русского государства» [5].

Раскольников не помышлял о разрушении памятников, воздвигнутых во славу русского оружия. Что касается церкви на улице Царя-освободителя, которую советское руководство первоначально намеревалось сохранить в распоряжении советского полпредства, то при содействии Раскольникова была достигнута договоренность о ее передаче Св. Синоду Болгарии при условии, что в ней будут служить не русские, а болгарские священники.

Свои ознакомительные прогулки и поездки Раскольников резко сократил, получив в конце 1934 г. известие о готовящемся на него покушении со стороны экстремистских белогвардейских организаций. «Страх перед белогвардейским покушением очень мешает его работе в болгарском обществе», — отмечается в полицейских отчетах, в целом оценивающих поведение русских эмигрантов в отношении сотрудников советского полпредства как спокойное

[4, а.е. 432, л. 17-18]. По данным Дирекции полиции, до апреля 1935 г. 54 человека из числа русских эмигрантов обращались в советское полпредство с различными просьбами (14 из них ходатайствовали о возвращении в СССР) [4, а.е. 432, л. 29]. Все контакты Раскольниковова с русскими эмигрантами, проживающими в Болгарии, болгарская полиция оценивала как попытки разложения и дискредитации русской эмиграции в глазах болгарских властей и общественности.

Из-за малочисленности состава советского полпредства (персонал его, согласно договоренности с болгарским руководством, в среднем составлял около 10 человек) Раскольникову приходилось много заниматься административно-хозяйственными вопросами: организацией ремонта здания полпредства, оборудованием его интерьера. Мебель покупалась и в антикварных магазинах Москвы, и в Берлине, и у самых дорогих софийских торговцев. Газетчики не преминули отметить, с каким вкусом Раскольниковы подобрали самый изысканный бархат и шелк для мебели и портьер, старинные картины и вазы. 15 апреля 1935 г. состоялся первый официальный прием в отремонтированном здании советского полпредства: в центре Софии близ царского дворца заалел советский флаг.

Раскольникову-дипломату серьезно помогал Раскольников-писатель. Болгарские журналисты и литераторы видели в советском полпреде прежде всего своего коллегу, а он, в свою очередь, охотно шел на установление с ними личных контактов, принимал по первой просьбе, часто устраивал для них приемы в советском полпредстве. В качестве постоянных посетителей советского полпредства полиция зарегистрировала более 100 представителей болгарской творческой интеллигенции — они неизменно составляли большинство на всех советских приемах.

Раскольниковова осаждают просьбами дать свои произведения для издания на болгарском языке, разрешить постановку его пьесы «Робеспьер», болгарские литераторы присылают ему свои труды на рецензию. Газета «Нови дни» печатает воспоминания Раскольниковова о борьбе против белогвардейцев на Волге. В прессе часто публикуются доброжелательные статьи о советском полпреде, интервью с ним и его супругой. Накануне нового, 1935 г., газеты «Утро» и «Камбана» подготовили развернутое интервью с Раскольниковым, которое было опубликовано в их новогодних выпусках вместе с фотографиейми советского полпреда. «В предстоящем 1935 г., — отмечал Раскольников в обращении к болгарским читателям, — мы должны укрепить культурные, хозяйственные и политические отношения между Болгарией и Советским Союзом. Я надеюсь, что искренние чувства симпатии к болгарскому народу, с которыми я приехал в вашу страну, найдут ответный отклик».

Под броскими заголовками «СССР не думает ни с кем воевать», «Железная дисциплина и дружба в СССР» газеты как будто торопились напечатать впечатления тех, кто при содействии Раскольниковова побывал в Советском Союзе. И это было не случайно: после того, как газета «Утро» опубликовала очерк известного журналиста, начальника отдела культуры министерства просвещения Болгарии Н. Балабанова о его поездке в СССР, ее тираж увеличился на 7 тыс. экземпляров. Вдвое увеличился тираж газеты «Зора» после публикации статьи об СССР артиста и режиссера П. Стойчева, который представил на кинофестивале в Москве болгарский фильм «Песня Балкан». Книга профессора Ас. Златарова «В стране Советов», изданная 20-тысячным тиражом, была раскуплена в считанные дни. «Болгарская пресса в руках Раскольниковова», — с тревогой отмечается в рапорте полиции, предлагавшей незамедлительно принять меры с целью разрушения тех представлений об СССР, которые создает Раскольников [4, а.е. 432, л. 2].

В полицейском досье на советского полпреда подчеркивалось, что Раскольников пользуется расположением болгарской творческой интеллигенции и журналистов как человек «по-настоящему интеллигентный и культурный»

[4, а.е. 432, л. 201]. Неудивительно, что особенно быстро сложились дружеские связи советского полпреда именно с представителями этой части болгарского общества.

Избранный круг друзей, образ жизни, внешние манеры советского полпреда вызвали непонимание со стороны определенной части болгарских коммунистов и революционно настроенных кругов, симпатизировавших Советскому Союзу. Как зафиксировано в полицейском рапорте, не слишком благоприятное впечатление произвел Раскольников на мать Г. Димитрова, которая была среди первых посетителей советского полпреда после его приезда в Софию (21 ноября 1934 г. она пришла к нему с букетом хризантем, неоднократно бывала и позднее). Мать Димитрова была удивлена, с каким восхищением и как много Раскольников говорил о царе Борисе. Она признавала, что многие болгарские коммунисты в недоумении, почему советский полпред отказывает им в приеме, однако чуть ли не каждый день принимает самых богатых софийских торговцев, не привлекает к работе по ремонту и обслуживанию полпредства [4, а.е. 429, л. 36].

Редкие контакты с представителями болгарской коммунистической партии, как свидетельствуют полицейские документы, практически прекратились весной 1935 г., тогда же были уволены работавшие с декабря 1934 г. в советском полпредстве в качестве технических служащих братья Г. Димитрова — Борис и Любен. «Советское полпредство хочет быть приятным для всех и не показывать свое коммунистическое лицо», — так расценили эти факты в полиции [4, а.е. 432, л. 94]. В почте Раскольникова были нередки письма с протестами болгарских коммунистов против «буржуазного образа жизни» советского полпреда, с упреками за невнимание к деятельности болгаро-советского общества, почетным председателем которого являлся Раскольников. А вот какая характеристика Раскольникова легла на стол руководства политической полиции в декабре 1934 г.: «Неглупый человек. Достаточно отшлифован для своей дипломатической карьеры и умеет держаться в любом обществе. Он прекрасно знает, что нарушение общепринятых правил этикета, которое он себе позволит, ему простят как дипломату новой формации, а известными кругами это будет даже приветствоваться. Энергичен. Для чисто партийной работы в Советской России он не был бы пригоден, так как он ближе к буржуазии, чем к пролетариату. Он предан пролетариату только до тех пор, пока пролетариат связывает его с прошлым и позволяет ему вести буржуазный образ жизни. Ему нравится проводить левую политику в среде буржуазии, так как при этом он сам имеет возможность вести буржуазный образ жизни, что разрешается партией, так как он работает по „большевизации буржуазии“. Он принадлежит к числу дипломатов, которые умеют создавать хорошие отношения. Он одновременно дипломат, писатель, художник, журналист. „Интересуется“ решительно всем. Это дает возможность завязывать широкие связи и знакомства. В Болгарии он нашел то, что нигде не встречал, — люди сами идут ему навстречу» [4, а.е. 432, л. 1].

Болгарская полиция установила, что за Раскольниковым ведет постоянное наблюдение один из сотрудников советского полпредства. Не осталось незамеченным также то обстоятельство, что мать Раскольникова с ноября 1934 г. так и не получила разрешение в Советском Союзе приехать к сыну, а ее письма были вымараны советской цензурой. Постоянное наблюдение за Раскольниковым привело Дирекцию полиции к убеждению, что «товарищ Раскольников не имеет 100% пролетарского доверия у своего руководства» [4, а.е. 432, л. 54]. Этот вывод был сделан весной 1935 г.

После отставки правительства К. Георгиева в январе 1935 г. в Болгарии в течение полутора лет сменилось три кабинета министров, шла министерская чехарда. В стране усиливался реакционный курс, направленный на установление монархо-фашистской диктатуры. Каждое последующее пра-

вительство было все более послушным царской воле и подчеркнута стремилось отделить свою политику от курса «деятелей 19 мая» в отношении СССР, все более открыто давая понять, что не намерено развивать контакты с Советским Союзом. Тем не менее связи с советским полпредством болгарские правящие круги не порывали: ежегодно приемы в честь Октябрьской революции посещали практически все болгарские министры во главе с премьерами.

Весной 1935 г. Дирекция полиции отмечает, что Раскольников «занимает выжидательную позицию, рассчитывая, что скоро придет к власти более демократическое правительство и работать будет легче» [4, а.е. 432, л. 95]. С особым вниманием полицейские агенты фиксировали связи советского полпреда с представителями оппозиционных сил, однако они не установили контактов советского полпредства с заговорщиками Д. Велчева — обвинения болгарских правящих кругов в причастности советского полпредства к заговору летом 1935 г. были беспочвенными, что позднее подтвердило проведенное расследование. Характеризуя деятельность Раскольникова в тот период, отчеты полиции отмечают широкую пропаганду советского образа жизни, достижений советской экономики, науки, культуры, внедрение в болгарское общественное мнение тезиса об СССР как защитнике славянства и необходимости создания балканского объединения через федерацию Болгарии с Югославией [4, а.е. 432, л. 171].

В июле 1935 г. Раскольников участвует в переговорах о заключении советско-болгарского торгового соглашения, к которым болгарская делегация, как известно, приступила, имея распоряжение своего правительства сорвать их [6]. Однако, как свидетельствуют советские дипломатические документы, и советская сторона не проявляла заинтересованности в налаживании широких торговых связей с Болгарией: экспортный контингент болгарских товаров не представлял большого интереса для Советского Союза, к тому же болгарская сторона требовала, чтобы 30% поставок СССР оплачивал в твердой валюте, в то время как советская сторона настаивала на расчетах в форме нетто-баланса. В этой связи интересно, что, по данным Дирекции полиции, советские представители, стремясь к подписанию торгового соглашения, шли даже на изменение проекта, утвержденного в Москве (в частности, предложили, чтобы Болгария оплачивала советские товары в левах, в то время как НКВТ настаивал на продаже советского сырья только за твердую валюту) [4, а.е. 432, л. 38]. В августе 1935 г. Раскольников получил указание из Москвы прервать переговоры, если условия СССР не будут приняты болгарским правительством. Таким образом, переговоры провалились, болгарская полиция не дала разрешения на учреждение Института болгаро-советской взаимности, который должен был содействовать укреплению экономических и культурных связей между болгарскими и советскими кооперативами [7].

Не встречали отклика болгарской стороны и усилия Раскольникова, направленные на развитие культурных связей между двумя странами, что было предметом его особой заботы. Болгарское правительство не согласилось заключить специальную культурную конвенцию с СССР, необходимость которой Раскольников неоднократно доказывал болгарскому министру просвещения. Правительство Златева запрещало продажу в Болгарии советских газет, препятствовало распространению советских книг и кинофильмов. Советские фильмы пользовались огромной популярностью у зрителей, неизменно демонстрировались при переполненных залах «Петербургские ночи», «Веселые ребята», «Дубровский», а показы фильма «Цирк», как свидетельствуют отчеты полиции, всякий раз завершались митингами со здравицами в честь СССР. Все чаще в болгарской прессе появлялись враждебные Советскому Союзу статьи, на что Раскольников вынужден был заявлять официальные протесты. Особенно явственно проявился поворот болгарской прессы в отношении СССР летом 1936 г., когда были

запрещены 17 левых газет и журналов, ужесточена цензура. В полицейском рапорте отмечается, что теперь только две ежедневные газеты печатают добродетельные статьи об СССР — «Нова камбана» и «Зора» [4, а.е. 432, л. 96].

Культурное сотрудничество постепенно сводится к проведению время от времени единичных мероприятий, организация которых требовала все больших усилий. Весной 1936 г. в Софии с огромным успехом прошли концерты С. Прокофьева, осенью 1936 г. в Военном клубе состоялся вечер советской музыки, а в Доме искусств «Арс» усилиями профессора Ас. Златарова была организована выставка советских художников-графиков. Скоропостижная смерть Ас. Златарова в декабре 1936 г. явилась для Раскольниковых большой личной утратой. Он принял участие в похоронах болгарского ученого, которые вылились в 50-тысячную антифашистскую демонстрацию.

В обстановке наступления монархо-фашистской диктатуры значительно снижается эффективность деятельности всех болгаро-советских организаций. В отчетах Дирекции полиции отмечается, что в 1936 г. Интурист, болгаро-советское общество дружбы, болгаро-советская торговая палата и болгаро-советское кооперативное общество «не проявляли никакой деятельности. Цель Раскольниковых — привлечь в эти организации представителей различных слоев болгарского общества, не была достигнута» [4, а.е. 432, л. 170].

К сожалению, мы не располагаем документами болгарской полиции о последних 15 месяцах пребывания Раскольниковых в Болгарии. По свидетельствам самого Раскольниковых и его жены, начиная с конца 1936 г. из Москвы последовали предложения о новом назначении, в Мексику, Чехословакию, Грецию, Турцию. Раскольников отказывался, заявляя, что «удовлетворен своим пребыванием в Болгарии». Тяжелым ударом и грозным сигналом для Раскольниковых явилось сообщение о расстреле Тухачевского, Якира и других его близких друзей и соратников по гражданской войне. Известие это совпало с получением телеграммы НКВД с предписанием немедленно приехать в Москву «для переговоров о новом, более ответственном назначении». По словам Музы Васильевны, Раскольников стал носить заряженный револьвер, другой был в ящике ночного стола, а зимой 1938 г. во время загородной прогулки он сообщил ей о своем твердом решении не возвращаться в Москву [2, с. 232].

1 апреля 1938 г. Раскольников выехал из Софии. Дирекция болгарской полиции располагала информацией о том, что речь идет об очередном отпуске советского полпреда: он не вручил отзывные грамоты, не нанес прощальных визитов. Однако досье на Раскольниковых вскоре было сдано в архив — в Болгарию он больше не вернулся. 6 апреля 1938 г. «Правда» опубликовала сообщение об освобождении Ф. Ф. Раскольниковых от обязанностей полномочного представителя СССР в Болгарии. Не приехал Раскольников и в Москву. Через Берлин Раскольниковы проследовали в Брюссель, а спустя несколько недель переселились в Париж. Именно там 17 августа 1939 г. появилось известное «Открытое письмо Сталину», в котором Раскольников обвинил его в избиении партийных кадров [1, с. 174-182]. После тяжелой болезни Ф. Ф. Раскольников скончался 12 сентября 1939 г. и был похоронен близ Ниццы.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гребельский З. В. Федор Раскольников. М., 1988.
2. Канчев М. В. Моя жизнь с Раскольниковым. М., 1989. (Детектив и политика. Вып. 3).
3. Спасов Л. Българо-съветски дипломатически отношения. 1934—1944. София, 1987, с. 28.
4. Централен държавен исторически архив (ЦДИА), ф. 370, оп. 6.
5. ЦДИА, ф. 176, оп. 6, а.е. 2521, л. 41.
6. Хаджиниколов В. Стопански отношения и връзки между България и Съветския Съюз до 9 септември. София, 1956, с. 159.
7. Советско-болгарские отношения и связи. Документы и материалы. 1917—1944. М., 1976, с. 400.

# МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНИКУ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Седакова О.А.

## Церковнославянско-русские паронимы.

Словарь, а точнее, первый его эскиз, предложенный нами, относится к лексикографическому типу "Ложные друзья переводчика": такие словари особенно актуальны для близкородственных языков. Церковнославянский чрезвычайно богат "ложными друзьями" для русскоязычного восприятия. Мы имеем в виду формально совпадающую с русской, но семантически расходящуюся с ней лексику. Оpozнaвание другой семантики в хорошо известном слове (например, *требую* и *тѣбѹ*, *нужда* и *нѣжда*, *озлобленнѣй* и *ѡзлобленнѣй* и т.п.) - одна из главных, наряду с синтаксической, проблем понимания церковнославянских текстов. Во многих случаях не остановленное вовремя восприятие почти фатально ошибается, не находя для себя ничего затруднительного в "знакомом" слове и не чувствуя нужды справиться со словарем. Насколько нам известно, первым и единственным из авторов церковнославянских учебников на существенное значение двойственной лексики, входящей в состав русского и церковнославянского языков, обратил внимание Н.Ильминский, составив небольшой словарь таких "опасных" слов [1].

Дистанция между русской и церковнославянской семантикой может быть различной: от весьма незначительной, почти контекстуально обусловленной (*тѣхѣй*, в котором, в отличие от русского *тихий* доминирует компонент *приятного, надежного*, а не *слабого по звучанию: свѣте тѣхѣй; тѣхѣмъ ѥ милостивѣмъ вонмѣ ѡкомъ* и т.п.), до очень далекой (*непостоѡннѣй - нестерпимѣй, тот, против котораго нельзя постоѡти: непостоѡнно величїе славы твоѣѡ*).

По-разному соотносятся и семантические диапазоны церковнославянского и русского слов: церковнославянское может на своей периферии наметить то значение, которое становится основ-



ным в русском (*клевѣтнѣкъ* кроме обычного *обвинитель* может значить и *ложный обвинитель*) русское слово может сохранять на периферии значение, бывшее основным в церковнославянском (*требовать* в таких русских выражениях, как *платье требует починки*, сохраняет значение *настоятельно нуждаться*, единственное для славянского *требовати*: *ѡчищенїи ѡкъ вѣтъ не трѣба*). Иногда смыкающаяся семантика обнаруживается в другом морфемном оформлении (так, русск. *нужда*, означающее то, что в церковнославянском означало *требованіе*, не сохранило церковнославянской семантики *насилия*, но ее можно встретить в русск. *принуждение*).

Различны причины и история семантических расхождений. Среди них можно заметить общее смещение семантики словообразовательной модели. Так, отглагольные существительные на *-аніе*, *-еніе*, *-іе* в русском означают *процесс*, тогда как в церковнославянском могут означать также и объект или результат действия (или *воспрїятіе* - то, что воспринято: *избави ... ѡ лютыхъ воспрїятїи*).

Однако точное и детальное описание семантической истории - дело будущего, также как и рассмотрение церковнославянской семантики на общеславянском фоне, в связи с этимологией и с греческим оригиналом. Наша нынешняя задача - составить по возможности полный свод такой лексики. Самый словарь, как нам кажется, дает увлекательные темы для лингвистической мысли.

Тексты, из которых взят наш словесный материал,- в первую очередь, богослужебные: Канонник, Триодь цветная (Пентекостарий) и Триодь постная, Требник, Служебник, Катавасийник, Часослов и Молитвослов - но также и Писание, преимущественно Новый завет и Псалтирь. Нами еще почти не обработаны такие важнейшие источники, как Минеи и Октоих. Излишне говорить, что и толкования, и иллюстративная часть каждой статьи требуют дальнейшей доработки<sup>1</sup>.

В настоящем словаре мы стремимся остаться в рамках лингвистического толкования, поэтому слова, семантика которых отличается от русской в силу внеязыковых причин (устойчивые символы, как *рѡтъ*: *возвыси рѡтъ праведныхъ*; *зѣвы*: *зѣвы грѣшниковъ сокращїи ѡси* и т.д.; слова-концепты догматики, как *слово*, *образъ*, *святъ*) в словарь не включаются или не толкуются в этой перспективе.

Помещая этот словарь в начале курса, перед грамматикой, мы исходим из того, что само внимание к лексике этого рода уже дает определенную интерпретационную установку. К словарям церковнославянского обыкновенно обращаются в прямо противоположном случае, сталкиваясь с совершенно незнакомым

---

1. Список источников и принятых сокращений будет приведен в следующем номере журнала.

словом, типа ѡнагрѣ. Лексику, собранную в нашем словаре, имеет смысл давать по ходу обучения в качестве словарной работы, выбирая каждый раз группы слов какого-то одного семантического поля (например, рѣзнь - оумъ - смыслъ - слово и производные от них).

В работе над словарем самое деятельное участие принимала Мария Александровна Корноухова, которой я приношу глубокую благодарность. Возможность подготовить рукопись к печати появилась благодаря помощи священника Бориса Даниленко, директора Синодальной библиотеки Московского Патриархата.

**БАБА** - 1. повивальная бабка (μαῖα): ѡ рече царь ѡгѣпетскїи бѣбамъ ѡврейскимъ... ѡгда бѣбите ѡвранынамъ, ... ѡще ѡубе мѣжескїи полъ, вѣдетъ, ѡубивайте ѡго ... ѡубоашася же бѣвы вѣа ѡ не сотвориша... - И сказал царь Египетский повивальным бабкам евреев: ... когда повиваете у евреек ... если [младенец] мужского пола, убивайте его ... Но повивальные бабки убоялись Бога и не исполнили [этого] (Исх. 1,15-17.) ѡще бѣвы слышала ѡси, ѡубивающыа ѡногда безвозрастное мѣжеское ... - Не слышала ли о повивальных бабках, в древности убивавших новорожденных мужского пола ( Вел. К. Вт.,5). От бѣба глагол бѣбити (бѣблю) - повивать. 2. бабушка (мать отца или матери): Ѡ ... вѣрѣ ѣже вселиса прѣжде въ бѣбѣ твою лѡидѣ, ѡ въ мѣтеръ твою ѡвникію - О вере, которая прежде вселилась в твою бабушку Лоиду и в твою мать, Евникию (1 Тим. 1, 5)

**БАНА** - купальня λουτρὸν; фигур.: омовение, крещение. бѣна пакибытіа, бѣна дѣхѡвнаа, бѣна бытіа, бѣна пакирождѣніа, бѣна безмѣртїа - устойчивые сочетания, означающие крещение, новое рождение. Бѣню бѣжественнѡ пакибытіа словомъ рѣствѡривъ - Божественное омовение возрождения создав словом. (К.Пт. (Дамаск))

**ВЕЗВОЛѢЗНЕННЫИ** - не мучительный: (см: волѣзнъ 1,2): Хрїстіанскїа кончіны животѣ нашегѡ, безволѣзненны, непостѣдны, мїрны... ( Просит. ект.)

**ВЕЗВЕДАННЫИ** - безопасный; не несущий в себе угрозы. ѡубити ѡубе намъ, ѣакѡ безведное страхомъ ѡубѡвѣ молчанїе - Легче нам предпочесть молчание, не несущее в себе опасности (К. Рожд).

**ВЕЗВИНОВНЫИ** - не имеющий внешней причины существования (см. вина, 1), самосущный. Относится исключительно к Богу Отцу. Слове, происшедый Ѡ ѡца безвиновнагѡ (Патрѡс ѣхъ ѡнаїтіу)

**ВЕЗВОЗРАСТНЫИ** - не выросший, новорожденный (см. возрастъ): ѡще бѣвы слышала ѡси, ѡубивающыа ѡногда безвозрастное мѣжеское ... (Вел. Кан., Вт., .5 )

**ВЕЗВѢСТНЫИ** - неведомый: Безвѣстнаа ѡ тайнаа премѣдрости твоѣа (Пс. 50,8)

**ВЕЗГЛАСНЫИ** - 1. немой, молчащий (ἄφωνος): ѡ ѣакѡ ѡгнець предъ стрїгѡшнимъ ѡго безгласенъ (Ис. 53,7). 2. бессмысленный, не несущий сообщения (см. гласъ): Ѡбди гласѡвъ сѣтъ въ мїрѣ, ѡ ни ѡдинъ

Ихъ възгласенъ - Многочисленны наречия в мире, и ни одно из них не бессмысленно (1 Кор. 14,10).

**БЕЗЪРАЧНЫЙ** - бесформенный, не имеющий внешнего образа, красоты (ἄμορφος). См. зракъ: Красный добротою паче всѣхъ челоуѣкъ, ꙗко безъраченъ мѣртвь ꙗвлаетса. - Тот, кто превосходит красотой всех людей, мертвый видится лишенным красоты (Вел. Сб.).

**БЕЗКНИЖНЫЙ** - неграмотный (ἀγράμματος): Кѣтѣмъ бо ѡзъ мѣмъ безкнижнѣмъ - Ибо Ты сделал красноречивыми неграмотных ((К. Пят.(Дамаск))

**БЕЗЛѢТНЫЙ** - вневременной, вечный (ἄχρονος): см. лѣто. Къ нѣмъ же безлѣтнѣмъ свѣтъ ѡзъ гроба плѣтски всѣмъ възрѣмъ - В которую (ночь) вечный свет из гроба воссиял по плоти. (К. Пасхи, 7); Въ лѣто безлѣтнаго неизреченноу рѣждшю .... величѣемъ - Во времени Того, кто вне времени, непостижимо родившую славим (К. Возн.).

**БЕЗМОЛВІЕ** - 1. покой, отсутствие смущений (ср. молва): Да ѡ соннѣмъ безмолвіемъ просвѣтѣмса - Чтобы и мирный сон просветил нас (Вел. Пов); 2. молчание: Жена въ безмолвіи да оучитса (1 Тим., 2,11); 3. монашеское аскетическое дѣланіе, ἡσυχία. Отсюда: безмолвникъ, безмолвствовати.

**БЕЗМОЛВНЫЙ** - спокойный, без тревоги. (см. молва): Потрѣбно ѣсть вамъ безмолвнѣмъ бѣти. (Деян: 19,36 ); Да тихое ѡ безмолвное житіе поживѣмъ. 1 Кор.7.35

**БЕЗМОЛСТВОВАТИ** - жить в мире, в тишине, без возмущений: ѡ любѣзну прилѣжати ѣже безмолствовати, ѡ дѣлати своѣ - И усердно стараться жить в мире и делать свое дело (1 Фес.4,11).

**БЕЗМѢСТІЕ** - нелепость, недолжное, ἀτοπία: ѡмже раздражатъ вѣа своего, когдѣмъ сотворѣтъ безмѣстіе Иуд. 11,1.

**БЕЗМѢСТНЫЙ** - нелепый, пустой (синон.: нелѣпы ѡ, слѣш), непристойный: Безмѣстнаа бо мѣслиши, беззакѣннаа же дѣши - Ибо ты думаешь пустое и делаешь нечестивое (Вел. К, Вт.8); Содѣанныхъ мною лютыхъ помышлѣа безмѣстнаа... - Представляя в уме нелепое сделанного мною зла (Стих. Пн. Н.Мир.):

**БЕЗНАДЕЖНО** - сверх ожидания: Далъ еси ѡмъ ѡзобильнѣ водѣ безнадѣжно - Ты дал им, не имеющим надежды, избыточную воду. (Прем.. 11,8)

**БЕЗНАЧАЛЬНЫЙ** - не имеющий начала, вечносущий, ἀναρχος: Со безначальнѣмъ твоимъ оцемъ... (Л.Зл.), В отличие от безвиновный (см.) относится ко всем Лицам Св.Троицы.

**БЕЗОВОРАЗНЫЙ** - не имеющий образа (синон. безърачный), ἄμορφος: Дивлюса зраци тѣ, прѣлагѣи еже, ѡ прѣщѣдрѣи гди, вѣзъ славы, ѡ вѣзъ дѣхѣніа, ѡ безовразна. (Веч. Вел.Пт.).

**БЕЗЪШТЕВѢТНЫЙ** - не имеющий извинения, оправдания (см.Швѣтъ): Невидимаа бо ѡгѣо ѡ создѣніа мѣра творѣнии помышлѣома видима етъ, ѡ приносѣщнаа сила ѡгѣо ѡ вѣтѣо, во еже бѣти ѡмъ безъ швѣтнѣмъ - Ибо то, что у Него невидимо, через рассмотрение [Его] творений от создания мира, становится видимо, и вечная сила Его, ѡ Божество; потому у них нет оправдания (Рим.1,20); Сегѣо ради безъ швѣтѣнъ еси, ѡ члѣвѣче, всѣмъ сдѣмъ - Потому, человек, всякий осуждающий не

имеет извинения. (Рим. 2,1)

**БЕЗПЕЧАЛЬНЫЙ** - не имеющий забот ( см.: печаль), ἀμέριμος: *Хочу же вась безпечальныхъ быти (1 Кор. 7,37)*. Отсюда термин аскетике **безпечальіе** - отрешение от мирских забот.

**БЕЗСЛОВЕСІЕ** - 1. безрассудность, безуміе, ἀλογία: *И ѡстаниса (дшш) прочее преждаго безсловесна - И впредь отойди от прежнего безумія, душа (Вел.К, Пн.,1) ; Безсловесіа мѧ и҆зѡви (КАИС)*; 2. лишенность (духовного) смысла: *Иже словомъ безсловесіе разрѣшивше языковъ ѡплн. - Апостолы, освободивши словом (проповедью) языческие народы от бессмысленности (К Анг. и Арх).*

**БЕЗСЛОВЕСНЫЙ** - 1. безумный, недуховный (см. словесный): *Преклонивса, іисе, безсловесными смѣтми, безсловесенъ іавихса - Поддавшись безумным наслаждениям, Иисусе, я стал безумен (не духовен); (КАИС)*. 2. неразумный: *Безсловесно во мнитса мѧ, посылающе іозника, а вины, іаже нань, не сказаѣти - Неразумным кажется мне посылать обвиняемого, не сообщая обвинения против него (Деян. 25,27) .*

**БЕСѢДА** - 1. язык, наречіе: (Пасха) *іаже єврейскою бесѣдою преведеніе толкѣтса - Пасха, что в еврейском языке означает "переход" (Син. Пасхи)*; 2. манера произношения: *Бесѣда твоѧ іавѣ тѧ творитъ - Твое произношение выдает тебя*; 3. собрание, общество: *Тлатъ ѡвѣчан влѧги бесѣды зѧвѧ - Плохие собрания развращают добрые нравы (3 Кор. 15,33)*.

**БИСЕРЪ** - жемчуг, μαργαρίτης; вообще драгоценный камень: *Пѧки подобно ѡсть црствіе нѣное человекъ кѡпцѧ, ищущѧ добрыхъ бисерей (Мф. 13, 15)*

**БЛАГОПРІАТНЫЙ** - 1. принимаемый с удовольствием (см. пріятный). *И молитвенницею бл҃гопріатною тобою всестѧа богатащесѧ... - И обогатившись Тобою, Всесвятая, молитвенницей, принимаемой (Господом); Благопріатнѧ сотвори молитвѧ нашѧ (Стих под: Бог. гл.5)*; 2. добрый, удобный: *Се нынѣ время бл҃гопріатно, се нынѣ день спсѣніѧ (Мин.. дек., 6-17)*

**БЛАГОРАЗУМІЕ** - благосклонность, милость, любовь, εὐνοια.

**БЛАГОРАЗУМНЫЙ** - 1. удобный для понимания, вразумительный, осмысленный, εὐνομος (см. разумъ): *ѡще не благоразумно слово дажит ѧ языкомъ, како оуразумѣтса глаголемое - Если вы языком произносите невразумительное слово, как будет понято то, что говорите? (1 Кор. 14,9)*; 2. обладающий добрым разумением, доброжелательный, преданный, εὐνοος: *Разумника благоразумнаго во єдинномъ часѧ равен сподобилъ єси (Свет. Вел. Пт.)*

**БЛАГОУТРОБІЕ** - сердечность, внутренняя благость (см. оутрѡба): *Подъ твоѧ бл҃гоутрѡбіе привѣгаемъ вѣе (М.Утр.)*.

**БЛАЖИТИ** - 1. приносить добро, благодворить: *Глаголы оустъ єгѡ беззаконіе и лѣсть: не восхотѧ разумѣти ѡже оублажити - Слова уст его - безуміе и ложь: не захотел он вразумиться, чтобы делать добро (Пс.35,4)*; *Оублажи гдѧ бл҃говоленіемъ твоимъ єіѡна (Пс.50,20)*; 2. прославлять, восхвалять, поклоняться: *Се во шнынѣ оублажатъ мѧ вси роди (Лк.1,48)*;

**БЛАДІВЫЙ** - празднословный, лживый: Не точно же праздны, но и бладивы и оплазивы, глаголющися, ꙗже не подобаетъ - И не только праздны, но и болтливы и любопытны и говорят чего не должно (1 Тим. 5,13).

**БЛАДЬ** - обман, вздор, λῆρος: Риторовъ блади безбожныхъ огнемъ дѣа попалиша - [Апостолы] выдумки безбожныхъ риторовъ попалили огнемъ Духа (Стих. Пят. гл.4)

**БОГОМЪЖНЫЙ** - богочеловеческий (см: мѣжъ): Какъ не дивнѣса бѣгомѣжнѣмъ рождество твоемъ, пречѣна - Какъ намъ не дивиться, Пречестная, рождению от Тебя Богочеловека? (Воск. гл. 3).

**БОГОМЪЖНО** - богочеловечески, как Бог и человек: Нынѣ же сокровенна твѣа бѣгомѣжнѣ оуяснилъ еси и същывмъ во адѣ, вѣко - Нынѣ же тайны Твои открыл, Владыка, как Бог и человек, и тем, кто в аду (Вел.К. Сб)

**БОКЪ** - место между ребрами и тазом, λαγών: Изъ бокѣ дѣвнѣс неизрѣченно воплотивша - Изъ девственного чрева неизъяснимо воплотившая... (Рожд. Бог.,К. 9); Изъ бокѣ чистѣ сѣа како бѣть родитиса мѣчно - Из чистого (девственного) чрева как может родиться Сын? (Ак.Б.М., Ик.2); 2.фигур. о земле: Зерно двоерасленое естественнѣжизненное, въ бокѣ земнаа сѣетса со слезами днѣс - Двуприродное живоносное зерно сеется нынѣ со слезами во чрево земли (Утр. Вел.Сб).

**БОЛѢЗНЬ** - 1.Страдание телесное и душевное (в отличие от недѣтъ - только телесное), μαλαχία: Да исцѣлѣтъ всѣхъ недѣтъ, и всѣхъ болѣзней (Мф. 10,1); Изъави недѣтѣвъ и горькихъ болѣзней (Посл. ел.); 2. Несчастье, зло, порок, νόσος: Болѣзни ѡдѣвы ѡбывѣша мѣ (Пс.17,6); Подъ ѡзы комъ егѣо трѣдѣ и болѣзнь - Под языкомъ его (нечестивого) - несчастье и зло (Пс. 9,28); Болѣзнь ѡдамѣ бѣ стѣ дрѣва вкѣшеніемъ - Зло пришло Адаму черезъ вкушение отъ дрѣва (Тр.); Тѣи недѣти наша прѣлѣтъ, и болѣзни понесѣ (Мф.,8,17); 3. немощь, ἀσφένια: Сѣа болѣзнь нѣстѣ къ смѣрти, но ѡ слѣвѣ вѣи (Ин. 11,4); 4. душевная боль, сокрушение: Болѣзнь родителей самъ ѡвлегчи... (Погр. мл.); Дѣждѣ ймѣ сердѣчно сокрушеніе и болѣзнь ѡ грѣсѣхъ; 5. родовые боли; роды, ὠδίνς: Всѣа же сѣа начало болѣзнемъ (ὠδίνων) - (Мф 24,8); ѡсужденіе ѣвинѣо разрешиса и ꙗже въ печѣлѣхъ болѣзнь - Разрешилось осужденіе Евы и рождение в муках (КРБ, А. Кр.); Призывающи сегѣ вѣрою и молитвою прѣлѣти мѣа болѣзни плодѣ - Призывая Его с верой и молитвой принять плодъ моихъ родовыхъ мукъ (К. Вв. (Георг)); 6. труд, подвиг, πόνοσ (о подвижникахъ и мученикахъ): Болѣзни во ѡнѣхъ и смѣрти прѣлѣтъ еси пѣче всѣакогѣ всеплодѣа (КА); Величѣемъ тѣа, ѡпле хрѣтѣвъ и чтѣмъ болѣзни и трѣды твѣа (Велич. Ап.).

**БОЛѢЗНОВАТИ** (болѣзнью) - 1. рождасть в мукахъ (см. болѣзнь, 5): Чѣдѣа моѣа, ймѣже пакѣ болѣзнью - Детки мои, которыхъ я вновь рождаю в мукахъ (Гал. 4,19); 2. заботиться.

**БОЛѢТИ** (болѣю) - 1. страдать физически (см. болѣзнь, 3): Гдѣи, егѣже любѣши, болѣтъ - Господи, тотъ, кого Ты любишь, болеетъ. (Ин.11,3); 2.Беспокоиться, болеть душой: Сѣ оцѣ твѣи и ѡзѣ болѣще искахомъ тебѣ

(Лк.2,48).

**ВРАНИТИ** - мешать, препятствовать: *Ὁσάβντε δέτειν πρнходίтн ко мнѣ, н не враніте ймѣ* (Мк. 10,14).

**ВРАНИ** - 1. война, битва, πόλεμος: *Ὁύσλѣшатн же ймате врани н слѣшаніа вранемѣ* (Мф.24,6); *Ѡ ѡже сохранитиса ... Ѡ ... ѡгнѣ, мечѣ, нашѣствіа иноплеменниковѣ н междоусобныа врани:* (Веч.); 2. враги: *Сокрѣшалай врани, мѣшцею высекою* - *Сокрушающий врагов сильной рукой* (К.Пят. (Маюм)). Отсюда *враниый, взвраниый*.

**ВРАТИСА** (ворюса) - сражаться: *Множицею вращаса со мною Ѡ йности моеѣ...* (Пс.128, 1-2). -

**ВѢИСТВО** - простота, глупость, невежество, μωρία: *Благонзѡмнѣ вѣѣ, вѣиствомѣ проповѣди спастн вѣрѡующнхѣ* (1 Кор. 1,21); *Премѣдрость во міра сегіѡ вѣиство оу вѣа ѡсть* (1 Кор. 3,19)

**ВЫВАТИ** - 1. становиться, делаться: *Человѣкъ вываѣтъ вѣѣ, да вѣа адама содѣлаѣтъ* - *Бог становится человеком, чтобы Адама сделать Богом* (КАПБ.); *Снѣ вѣи снѣ дѣвы вываѣтъ ...* - *Сын Божий становится сыном Девы...* (Троп. Благ.); 2. происходить, совершаться; *вѣвшее* - происшедшее; *ываѣмое* - происходящее: *Рекѡша пастырїе: прешѣдше оувїднмѣ вѣвшее, вѣжественнаго хрѣга* - *Сказали пастухи: пойдем, увидим случившееся, Божественного Христа.* (К.Рожд. Маюм); *н всн людіе рѡдовахѣса ѡ вѣхѣхѣ славныхѣхѣ вываѡущнхѣ Ѡ негѡ* - *И все радовались обо всех чудесах, совершаемых Им.* (Лк.13,17); 3. Вспомогательный глагол страдательного залога: *Всѣко оуѡ древо, ѡже не творїтѣ парѡдѣ добра, посѣкаемо вываѣтъ.* (Мф. 3, 10).

**ВЫСТРОТА** - острота (ума), пронизательность: *нсе, выстрѡтѡ оумнаа* - *Иисусе, быстрота ума; н дѡшѣвнѡю выстрѡтѡ оуаснн* - *И просвети, сделай ясной пронизательность души.* (КАИС).

**БЫТИЕ** - 1. существование, τὸ εἶναι (синоним ѡже *вѣти*): *Ѡ невьтїа вѣ вѣтїе преведѣ всѣческаа;* 2. родословие, γένεσις: *н снѣ вѣтїа сїмова: н вѣше снѣ сынѣ стѣ лѣтѣ, ѡгдѣ родн арѡфѡдѣа* (Быт. 11,10); 3. Книга Бытия, первая из пяти Книг Моисеевых: *Бѣтїа чтѣніе* (Возглас перед чтением из Книги Бытия).

**ВѢГАТИ** (вѣгаю) - 1. уклоняться, избегать: *ѡзѣ же грѣшннй добра всегда вѣгаю* (КИП); 3. спастись бегством: *ѡ наѣмннкъ ... вїднть вѡлка градѡца, н ѡставлѣтъ ѡвцы, н вѣгаѣтъ.* (Ин. 10,12).

**ВѢДА** - 1. нужда (нищета), ἀνάγκη: *Бѣдетѣ во вѣдѣ велиа на землїи н гнѣвѣ на людїи сїхѣ.* (Лк.21,23); 2. опасность, χίνδυνος: *Бѣдѣ вѣ рѣкѣхѣ, вѣдѣ Ѡ разѡйннкъ, вѣдѣ Ѡ срѡдннкъ, вѣдѣ Ѡ язѣкѣ.* (2 Кор. 11,26); 3. принуждение, неизбежность; *ѡще не вѣдѡю* - *если не по принуждению, не будучи вынужден.*

**ВѢДНЫ** - калека, безрукий: *Дрѡвѣйше тн ѡсть внїтн вѣ живѡтѣ хрѡмѣ илн вѣднѣ, неже дѣѣ рѣце н дѣѣ нѡзѣ ймѣшѣ, вѣврѣженѣ вѣ тн во ѡгнѣ вѣчны н* - *Лучше тебе войти в жизнь (вечную) без ноги или без руки, чем имеющим две руки и две ноги быть ввергнутым в огонь вечный* (Мф. 18,8).

**ВѢДНѢ** (вѣднѡ) - 1. трудно (синоним *нездѡбѣ*): *Временѣ тѣжка н вѣднѣ носїма* (Мф.23,4); 2. сильно, необыкновенно (син. *лютѣ*).

**БѢДСТВОВАТИ** - быть в опасности: БѢДСТВЕМЪ ПОРИЦАЕМИ БЫТИ ѿ КРАМОЛѢ ДНѢШНЕЙ - Нам грозит быть обвиненными в сегодняшнем возмущении (Деян. 11,40)

**ВАРІТИ** (варю), **ВАРѢТИ** (варѣю) - 1. предварить, обогнать: Понѣди ѿйсѣ оученики своѣ влѣзти въ корабль и варити ѡгѡ на ѡномъ полѣ - Велел Иисус ученикам своим сесть в лодку и, предварив Его, ждать Его на другой стороне. (Мф. 24,22); Мѣтарѣи и людовѣицы варѣють въ въ цѣтви бѣжи (Мф. 21,31); 2. встретить опередив: По воскресѣніи же моѣмъ варѣю въ въ галилѣи (Мф. 26,31).

**ВЕЛИКОВОЗРАСТНЫЙ** - сверхъестественный, удивительный, ὑπερφύσις: Въ своей дѣшнѣ собраша житіе великовозрастно, ѡбѣчай полѣзѣнъ и краснѣю жизнь - В душе своей собрали сверхъестественно прожитую жизнь (βίον ὑπερφύσι), добрый нрав и прекрасное бытие (Мин. Н., 1-12).

**ВЕРХЪ** - темя, голова, макушка: Изъивающѣи женѣ мѣро честное владычино и вѣжественномѣ и страшнономѣ верхѣ - Женщина, проливающая драгоценное миро на чудную божественную голову Владыки (Трип. В.Ср (К.М.9); И на верхѣ ѡгѡ неправдѣ ѡгѡ снѣдетъ (Пс. 7,17); 2. фиг.: глава, первенствующий ἀκρότης; верси апѡстольстѣи - верховные апостолы: Совзвѣдоша ти, словѣ единородный вѣшній ... апѡстольстѣи верси на горѣ давѡрскѣю - С Тобой, Единородный Всевышній Слове, взошли верховные из апостолов на гору Фавор (К. Пр. Дам.) .

**ВѢТХІИ** -старый: Всякъ книжникъ наѣнѣвса цѣтвию нѣномѣ, подобѣнъ ѡсть человекѣкъ домовитѣ, иже изъноситъ ѡ сокровища своегѡ новаѣ и вѣтхаѣ - Всякий книжник, наученный Царствию небесному, подобен хозяину, который выносит из своей кладовой новое и старое. (Мф.13,52); И никтоже пѣвѣ вѣтхоѣ, ѡбѣе хѡчетъ новаго: глаголетъ во: вѣтхоѣ лѣьше ѡсть - И никто, выпив старого (вина), не захочет тут же молодого, потому что старое лучше. (Лк. 5,39).

**ВѢТХІИ ДѢНИИ** - древний днями, именование Творца, Бога Отца у Пророков, παλαιὸς ἡμέρων: Сынъ человекъ идѣи бѣше, даже до вѣтхаго дѣнии доидѣ - Шествовал Сын человеческий и дошел до Ветхого днями (Дан., 7,13).

**ВѢТХІИ ЗАВѢТЬ** - Книги Св.Писания до Нового Завета, ἡ παλαιὰ διαθήκη.

**ВѢТХІИ ЧЕЛОВѢКЪ, ВѢТХІИ АДАМЪ** - падший человек, не обновленный спасением, не имеющий Духа Святого. Противоположн. новомѣ человекѣкъ, новомѣ адамѣ - Христу: ѡложити вамъ, по первомѣ житію, вѣтхаго человека тлѣющаго въ похотехъ прелѣстныхъ [...] И ѡблѣчисѣ въ новаго человека, созданного по бѣ, въ правдѣи и въ преподѣви истинны - Совлечь с себя ветхого человека вашей прежней жизни, растлевающегося в соблазнительных похотях ... и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (Еф. 4, 22-24).

**ВѢЩЕСТВЕННЫЙ** -1. материальный, видимый, ἔνυλος. Противоположн. невещественномѣ - оумномѣ, словѣсномѣ, мѣсленномѣ (см.): Впадѡхъ въ страстнѣю пагѣвѣ и въ вещественнѣю тлѡ - Я впал в пагубу страстей и

смертность материального (мира) (Вел. К, Вт,2.); Вещественна ὄγκια пламень неvēщественнι οὐγασίша - Пламя материального огня угасили духовные (силы) ; 2. реально существующий, действительный ( см. вещь): Μή ἴδρωσть не телесна ἔσть, но вещьественна (ἀλλὰ πραγμάτων) (Пс.18)..

**Вещество** - 1. материя, ὕλη; 2. сущность (см. вещь 4): ἴδρωσть во на беззаконныи найдеть, и тогда οὐβидатъ, гдѣ ἔсть ихъ вещество .

**Вѣщи** (в своей многозначности близко совр. русск дело, πράγμα) - 1. событие, происшествие: Βιδѣвши преславнаа вса земля, странныи же и дивныи вѣщи - Вся земля видела небывалые, нездешние и дивные события (К. Введ. (Георг)); 2. дело: Поможи мнѣ на всакоє время во всакоѣ вѣщи, и издѣви мѣ ѿ всакиа мѣрскаа слѣва вѣщи (Конд.Святит.); Издѣви ны ѿ страха ношнаго и всакиа вѣщи во тмѣ преходящиа (Посл. веч.); 3. природа, естество, φύσις: Ἰδѣи та стѣдѣ твоєлиѣ, ꙗже вещьей истина (К.Бл.); 4. действительное, в противоположность мнимому: Не съмнѣса ꙗко листи, ꙗкоже вѣщи вѣрши (ὡς πλάσματι - ὡς πράγματι) - Не сомневайся как о вымысле, но верь как действительному; 5. физически существующее, материальное, физический предмет, (противоположн. образъ): Не вещь чѣшчи, не вѣди, но образъ -

Поклоняясь не вещьественному предмету, но образу в нем

**Взвѣранный** (возвѣранный) - поборствующий, от ὑπερμάχεω - бороться за кого-либо, защищать кого-либо: Взвѣранныи военѣдѣ побѣдѣительнаа ... восписѣмъ ти равнѣ твои, вѣце (τῆ ὑπερμαχῶ στρατηγῶ) - К поборнице военачальнице победную (песнь) ... обращаем к Тебе рабы Твои, Богородица. (Ак.Б.).

**Взысканіе** - разыскание, рассуждение: Многѣ же взысканію бѣвшѣ, воставѣ петръ - По долгом рассуждении встал Петр (Деян. 15, 7).

**Взыскатель** - соискатель, спорщик, συζητής: ראדѣиса, ꙗко ѡвѣдѣша лютии взыскателе - Радуйся, ибо глупцами оказались искусные искатели (совопросники) (Ак.Б., Ик.9).

**Взыскати** (взыщѣ) - 1. искать, разыскивать: ...видѣти, ꙗще ἔсть разумѣвалѣи или взыскалѣи вѣга - ... увидеть, есть ли разумевающий или ищущий Бога (Пс. 13,2); 2. найти: Прїиде во сѣѣ челоѡчєскїи взыскати и спасти погнѣшаго (Мф. 18,11); 3. требовать ответа, расплаты.

Соответствует русскому взыскать: Ἰκко взы скалѣи крѡви ихъ поманѣ и не завѣы звѣнна οὐβѡгнѣхъ - Он, как взыскующий за кровь, вспомнил их и не забыл воплей нищих.

**Взѣти** (возмѣ), **Взнимати** (взѣмаю) - 1. поднимать, возносить: Возвєселѣи дѣшѣ раба твоєгѡ, ꙗко къ тебѣ взѣхѣ дѣшу мою (Пс. 85,4); Вознѣте врата кнѣзи вѣша, и вознѣтєса врата вѣчнаа - Поднимите, ворота, верхи ваши и поднимитесь, ворота вечные (Пс. 23,7); 2. принимать (на себя): Вѣзѣмѣи грѣхѣ мѣра помнѣши насѣ (Вел. Пов.); Ὁγѡже (оца) не ѡставнѣ, ꙗще и плѡть взѣтѣ - Кого (Отца) не покинул, хотя и принял плоть (К.Воз. (Ис. П)); 3. брать, забрать: Ἰκко вנєгдѣ οὐμрѣти ѡмѣ не возмѣтѣ всѣ, ниже снѣдетѣ съ нимъ слава ѡгѡ - Ибо когда умрет он, не заберет с собой ничего, и слава его не сойдет с ним (Пс. 48,18); 4. захватить, овладеть: И прїидѣтѣ римляне, и возмѣтѣ мѣсто и ѣззыкѣ



нашъ - И придут римляне и овладеют местом и народом нашим (Ин. 11,48); 5. томить, держать в недоумении: Доколѣ дѣши наша взѣмлеш; аще ты еси хрѣтосъ, оцы намъ не ѡвинѣаса - Доколе будешь томить душу нашу? (ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις) - Если Ты Христос, скажи нам прямо (Ин.10,24).

**ВЗЪАТИСА** (вѡзъмса), **ВЗЪМАТИ** (взѣмюса) - 1. подняться, вознестись: Ѳкко взѣтса велнокѡлѣпе твоѣ превыше нѣсѣ (Пс. 8,2); 2. быть взятым, забранным, удаленным: Всяка гѡрестъ и гнѣвъ и ѣростъ ... да вѡзметса ѿ васъ - Всякое раздражение и гнев, и ярость ... да будут удалены от вас; 3. совершаться: Во смиренїи егѡ сѣдѣ егѡ взѣтса - В уничижении Его суд (осуждение) Его совершается (Деян. 8,33).

**ВЗЪАТИЕ** - поднятие: (Ангелов) повелѣвающихъ дрѡгѣ дрѡгѣ нѣныхъ дверей взѣаѣ - Ангелов, повелевающих друг другу поднять небесные двери (Син.. Возн).

**ВНДѢНІЕ** - 1. видимое (то, что можно увидеть глазами); зрение: Вѣроу во хѡдимъ, а не видѣнемъ - Ибо мы живем верою, а не [непосредственно] зримым (2 Кор. 5,7); 2. вид, облик: И бѣгстѣ, егда молашеса, видѣнїе лица егѡ ѣно - И когда Он молился, стал иным вид лица Его (Лк. 9,29); 3. зрелище, то, что видимо: Приидѣте ѿ видѣнїа, жѣны бѣговѣстницы - Придите, жены-благовестницы, от того, что видели (Стихир. Пасхи); 4. видение: Ѳбразы погрѣвѣнїа твоегѡ показалъ еси, видѣнїа ѡумноживъ - Прообразы Твоего погребения Ты показал, посылая многие видения (К. Вел. Сб. (К.М.)).

**ВНДѢ** - зрение (одно из пяти чувств): Всями мойми чѣства, слѣхомъ и видѡмъ (Вел. пов.); Вперѣмъ виды, вкѣпѣ и чѣства, на нѣнаа вратѣ смѣртнїи - Устремим зрение и [другие] чувства мы, смертные, на небесные врата (Ик.Возн.)

**ВННѢ** - 1. причина, аїтіа: Тѡ прѣзднѣютъ и лѡдїе твои вины прегрѣшенїи изѣавлшеса (Рожд. Б.,Концак); 2. повод: Грѣхъ во винѣ прїемъ, зѣповѣдїю прельстїи мѣ, - Ибо грех, взявший повод в заповеди, соблазнил меня (Рим. 7,11); 3. оправдание: Нынѣ же вины не ѣмѣтъ ѡ грѣсѣ своемъ - Ныне же не имеют оправдания (прѡфасїи) в своем грехе (Ин. 15,22); Не оуклонї сѣрдце моѣ въ словеса лѣкавствїа, нещевѣати вины ѡ грѣсѣхъ - Не позволяй сердцу моему лукавить, вымышлять оправдания о грехах (Пс. 140,4); 4. обвинение, обличение: Дѣждь премѣдромѣ винѣ и премѣдрѣйшии вѣдетъ (Прем. 9,9); 5. судебное обвинение, состав вины: Вины во въ тебѣ не обрѣтше, повїннаго варрѡнѣ своѡдїша (Вел. Пт, Утр.); и возлюжїша верхѣ главы егѡ винѣ егѡ написанѣ (Мф. 27,37); 6. обязанность, аїтіа: аще такѡ естѣ вина человекѣ съ женоу, лѣшше естѣ не женїтса - Если такова обязанность человека перед женой, лучше не жениться (Мф. 19,10).

**ВННѢВННѢ** - см. вина, 1: Винѡвенѣ спїсенїа вѣчнагѡ - В Ком причина вечного спасения (Евр., 5,9).

**ВНСѢТИ** (вншѣ) - зависеть, состоять: Въ сїю обою зѣповѣдїю весь законъ и пророцы внсѣтъ - В этих двух заповедях состоят весь закон и пророки (Мф. 22,40).

**ВНТАТИ** (внтѡ) - укрыться: И бѣваѣтъ дрѣво: ѣкѡ прїнтїи птїцамъ

**нѣнымъ** и **вѣтати** на **вѣтѣхъ** его - И становится деревом: так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его (Мф. 13,32).

**ВІНОГРАДЪ** - виноградник: И извѣдше его изъ винограда, оубѣша (Лк. 20,15).

**ВЛАЗИТИ** (влѣж), **ВЛѢЗТИ** (влѣзѣю) - войти: И влѣзъ въ корабль, прѣиде, и прѣиде въ свой градъ - И войдя в лодку, переплыл [озеро] и пришел в свой город (Мф. 9,1); Понѣди ѿсѣ оученики свои влѣзти въ корабль, и вѣрѣти его на ономъ помѣ (Мф. 14,22).

**ВЛѢЩИ** (влѣж) - вести, проводить: Глазены Шкрѣмъ ѣсть дно, и свѣцю свои влѣчѣтъ - Открыл дно глубины и проводит своих [людей] по суше (К.Бог.).

**ВМѢНАТИ** (вмѣнѣю), **ВМѢНИТИ** (вмѣнѣю) - 1.обращать внимание, придавать значение, λογίζεσθαι: Чтѣ ѣсть человекъ, ꙗко вмѣнѣши его (Пс. 143,3); Блаженъ мѣжъ омиже не вмѣнитъ гдѣ грѣха (Пс. 31,2); 2. замышлять (синон. нещевѣати): Гдѣ ѣсть ѿсѣ оубоже вмѣните стрѣщи (Стих. хвал. 4 гл.).

**ВМЕНАТИСЯ**, **ВМЕНИТИСЯ** - быть зачтенным за что-либо, быть причисленным к кому-либо: И вѣрова аврамъ вѣж и вмѣнися оми въ правдѣ - И поверил Авраам Богу, и [это] зачлось ему за праведность (Быт. 15,6); Ср. измѣна.

**ВНИМАТИ** (внимѣю), **ВНАТИ** (внѣмлю) - внимательно слушать (см. **внатный**): Вонемѣ! (Лит.Зл.).

**ВНИМАТИСЯ**, **ВНАТИСЯ** - заниматься огнем, загораться: И льна внемшася не оугаситъ - И льна загоревшегося не потушит (Мф. 12,20)..

**ВНѢТРЕННИ** -принадлежащий невидимому миру; все, что внутри (синон. оутрѣба, оутрѣбы); внутренний мир, область самых интимных чувств: Благослови душе моя гдѣ, и всѣ внѣренна моя ѿма стѣе его (Пс. 102,2); **ВНѢТРЕННИ ЧЕЛОВѢКЪ** (противоп. **внѣшній человекъ**) - духовное, бессмертное начало в человеке: Но ѿще и внѣшній человекъ тѣбѣтъ, оубоже внѣренн ѿновляется (2 Кор. 4,16).

**ВНѢШИТИ** (внѣшѣ), **ВНѢШАТИ** (внѣшѣю) - услышать: Глаголы моя внѣши гдѣ - Услышь слова мои, Господи (Пс. 5,1); Вонми небо и возглаголю, земля, внѣшай гласъ кающійся къ вѣж - Слушай, небо, и буду говорить; земля, выслушай голос, приносящий Богу покаяние (Вел. К.,Ср.).

**ВНѢШНИ** - профанный, не священный, светский: **Внѣшнѣ философи**; **Внѣшній человекъ** - плотское и занятое мирскими делами начало в человеке (противоп. **внѣреннй человекъ**).

**ВНАТИЕ** - внимание, снисходительность: ѿще бо враги отрокѣвъ твоихъ и дожныхъ смѣрти, съ толикимъ мѣчилъ ѣси внатѣемъ и щадѣнѣемъ ... - Ибо если и врагов сынов Твоихъ и повинных смерти Ты наказывал с таким снисхождением и пощадою ...(Прем, 12,20).

**ВНАТНЫЙ** - слушающий, принимаемый (см. **внѣнимати**): И нынѣ гдѣ, да вѣдѣтъ Шѣерсты очи твои и оуши твои внатны къ молѣнѣю мѣста сегѣ (2 Пар. 6,40).

**ВОДОНОСЪ** - сосуд для воды: Напѣните водносы воды (Ин. 2,7).

**ВОЖДЪ** - проводник: Ѿ іудѣ бывшемъ вождѣи омишымъ ѿса - О Иуде, который был проводником тех, кто схватил Иисуса (Деян. 1,16).

**ВОЗЪВЪДИТИ** - разбудить: *И възвѣдиша ѿгѡ, и глаголаша ѿнѣ: ѡучитлю (Мр. 4,38).*

**ВОЗДВИГАТИ** (воздвигаяю) - 1. поднимать, возвышать: *Къ тебѣ, гдѣи, въздвигохъ дѣшѣ мою (Пс. 24,1), Воздвигоша рѣки, гдѣи, гласы свои - Возвысили реки, Господи, голоса свои, т.е. шум от волн своих (Пс. 92,3); 2. поднять, спасти, пробудить: И въ нечѣлнѣи лежащаго въздвиглъ мѣ ѿси - И в беспечности лежащего Ты пробудил и поднял меня (Млв).*

**ВОЗДВИЖЕННЫЙ** - пробужденный, поднятый (см. въздвигати, 2): *Да не падше и ѡбелѣнившеса, но вѡдрствующе, и въздвѣжени дѣланиѣ, ѡбращаемса готѡви (М.Утр.).*

**ВОЗМЪСТИТИСЯ** - 1. прийти в волнение: *Нѣинѣ дѣша мѡм възмѣтиса (Ин. 12,27), Сѣа рѣкъ инѣ възмѣтиса дѣмъ, и свидѣтельствова, и речѣ - Сказав это, Иисус пришел в волнение, и засвидетельствовал, и сказал (Ин. 13,21).*

**ВОЗМЪСТИТИ, ВОЗМЪЩАТИ** - смущать, приводить в волнение, беспокойство, сокрушать: *Ѳѡстрашенѣа твоѣ възмѣтѣша мѣ - Угрозы Твои [наказаниями] привели меня в беспокойство (Пс. 87,17).*

**ВОЗМЪЩЕНІЕ** - волнение воды, *οάλος: И на землѣи тѣга ѣзъкомъ ѡ нечѣлнѣа, шѣма морскаго и възмѣщенѣа - А на земле [будет] уныние народов и недоумение; и море восшумит и взволнуется (Пс. 88,10), Возмѣщенѣе же вѡлнѣ ѡгѡ ты ѡѡкроѡаеши - Когда волнуются волны его, Ты укрощаешь их (Пс. 88,10).*

**ВОЗЪВЪАНІЕ** - возрождение, восстановление, *ἀνάκλησις: Ты ѿси всѣхъ рѡдѡстѣ, ты ѿси възвѣанѣе наше (К.Введ.(Георг)).*

**ВОЗНИКЪТИ** (возникнѣ), **ВОЗНИКАТИ** (возникаю) - появиться: *Возникшии же намъ кѡпрѡ ѡставаше ѡшѣю - Появившийся же перед нами Кипр оставив слева (Деян. 21,3).*

**ВОЗРАЖЕНІЕ** - отражение, отпор: *Въ стѣнѣ и помѡщѣ, и въ возраженѣе сопротѣвнѣхъ - [Будь нам] оградой и помощью и отпором врагам (М. перед прич.).*

**ВѡЗРАСТЪ** - 1. рост (высота): *И искаше видѣти инѣа, кто ѿстѣ и не можаше ѡ народѡа, ѣако вѡзрастомъ малъ вѣ - И искал [Закхей] увидеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что был мал ростом (Лк. 19,3), Ктѡ же ѡ васъ пекѣиса мѡжетъ приложити вѡзрастъ своемѣ лѡкотѣ ѡдинѣ - Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хоть на один локоть (Лк. 12,25); 2. возраст, совершеннолетие (ср. безвѡзрастный, великовѡзрастный), ἡλικία: Въ мѣжа совершенна, въ мѣрѣ вѡзраста исполненѣа хрѣтова - В мужа совершенного, в меру зрелого возраста Христа (Еф. 4,13).*

**ВОЗВѡРАЗИТИСЯ** - вернуться в прежний образ: *Дрѣвнѣю добрѡтою възвѡразиса - Вернуть образ первоначальной красоты (Ин. Тр.).*

**ВѡЛНА** - шерсть: *Дѡющаго снѣгъ своѣи ѣако волнѣ - (Пс. 147,5).*

**ВѡЛНЪИЙ** - 1. обильный: *Дѡждѣ вѡленѣ ѡвѣчиши ежѣ достоѡнѣю твоѣмѣ - Пошли обильный дождь, Боже, Твоему достоянию (Пс. 67,10); 2. добровольный, чистосердечный: Вѡлнаа ѡустѣ моѣхъ вѣгѡви же гдѣи - Будь благосклонен к чистосердечным [словам] моих уст (Пс.*

**ВОНА** - 1. запах, ὀσμή, душистый дым: И прими ю въ воню благоуханіа - И прими ее [молитву] как благоуханный запах [жертвы] (Веч.). И вознесє во всеожжєніе на жєртвенникъ. И ѡбонѧ гдѣ воню благоуханіа - (Быт. 8,20-21); 2. благовоние, εὐωδία: Храмина же исполниша ѿ вонн масти (Ин. 12,3). 3. благовонная мазь, умащение, σταχτή: И вонями во гробѣ новѣ покрѣвъ помози (Веч. Вел. Пт.).

**ВОВБРАЖАТИ** (вовображаю), **ВОВБРАЗЪИТИ** (вовображѣ) - 1. принять образ, μορφοῦμαι: Ѳдинъ вѣдыи челоѡвѣческаго сщестѣа немощѣ и милоствєнво въ не вовображѣа - Ты, единый знающий немощѣ челоѡвѣческаго сущєства и милостиво принявший его образ (Кан. 1), Вовобразивъ мойхъ страстєй безъ образѣ, любосластными стремлєнными, погѡвнхъ ѡумѧ красотѣ - Приняв образ безобразия моихъ страстей, в сластолюбивыхъ желаніяхъ я утратил духовную красоту (Вел. К. Пн.); изображать, σχηματίζω: Крѣтъ же ввовразивъ, простѣртными повѣдѧ дланми воздѣвиже - [Иисус Навин] представив образ креста воздѣтыми руками, приобрел победу (К. Воздв (Маюм)).

**ВОПИТИ** (воплію) - взывать: И соблюдающе, вопіти тебѣ - И сохраняющая [тех], кто взываетъ к Тебе (К. Введ. (Георг)).

**ВОПРЕКИ** - 1. поперек, в сторону: Крѣтъ начертавъ, мѡисѣй впрѧмво жєздѡмъ, чернѡе прєсєчє ... тоже ѡбрѧтно фараѡновымъ колєсницѧмъ ѡудѧривъ совокупи ... вопреки написавъ непѡвѣдѧное ѡрѣжє - Моисей, начертавъ крест, вдоль пересєкши посохомъ Черное [море] ... и его же, противъ фараѡновыхъ колєсницъ ударивъ поперекъ, соединил, изображая непѡбєдимѡе ѡружєе (К. Воздв.); 2. против, напротивъ: Исполнишасѧ зѧвности и вопреки глаголюще и хѡлаще - И исполнились зѧвности и говорили напротивъ и хулили (Деян. 13,14).

**ВОСКЛИЦАНИЕ** - радостный крик, возгласъ ликования: Воспойте ѡмѣ пѣснь новѣ, дѡврѣ пойте со восклицаніємъ - Спойте Ему новую пѣснь, пойте прекрасно с ликованиемъ (Пс. 32,3).

**ВОСКРЕСАТИ** (воскрєсаю), **ВОСКРЕСНУТИ** (воскрєснѣ) - 1. вставать, подниматься, предстать: Не воскреснѣтъ нечєстивѣи на сѣдѣ, ниже грѣшници въ совѣтъ правєднѣхъ - Не предстанутъ нечєстивѣи на Суде и грѣшници в собрании правєднѣхъ (Пс. 1,5); 2. предстать, явиться в силе, посетить: Да воскреснѣтъ вѣтъ, и расточѧтся вразѣ ѡгѡ (Пс. 67,2), Ты воскресъ ѡущєдѣи сѣѡна - Ты, посетив, ѡблагодєтєльствуй Сион (Пс. 101,14); 3. воскреснуть из мертвыхъ: Воскрєсъ иисъ ѿ грѡба, ꙗкоже прѡрєчє - Воскрєс Иисус из грѡба, какъ прѡдсказывал (Пасх. часы).

**ВОСПИТАТИ** (воспитаю) - насытить, питать: Иже воспита манною ... принѡсѧтъ сѣсъ жєлчь ... кѣпнѡ и ѡцєтъ - Те, кого [Он] напитал манной, подають желчь и укус Спасителю (Утр. Вел. Сб.).

**ВОСПРІАТИ** - воспринятое: Избѧви дѡшѣ мою, ѿ совозрастающехъ ѡй зѡлѣ, и лютыхъ воспріѧтїи - Избѧвь мою душу отъ соприродныхъ (возрастающихъ вместе с неѣ) зѡлѣ и от дурного, воспринятого (єю) извне (П. Пр.), ѿ дѣвы во чѣстѣмъ плѡтъ прїємѣи и изъ неѧ прѡшѣдѣи съ воспріѧтїємъ - Принявший плѡтъ отъ Пречѣистой Дєвы и явившїйся отъ Нєє с темъ, что Онъ воспринял (Веч. Пят. Свет. Сєдм.).

**ВОСТАНІЕ** - 1. воскресение, ἀναστάσις: Бѣтвеннымъ востаніемъ дѣшею просвѣщаемыя - Божественнымъ воскресениемъ наши души просвѣщаются (Т. Вос); 2. возвышение: Се лежитъ сей на паденіе и на востаніе многімъ во ѿни - Вот лежит Тот, из-за кого многие в Израиле падут и многие возвысятся (Лк, 2,34).

**ВОСХИТИТИ** - 1. похитить, ἀρπάξω: И никтоже можетъ восхитити ѿхъ ѿ рѣки ѿца моего (Ин.10,29); 2. вознести, поднять на высоту: Восхищена бывша таковаго до третіаго нѣсе - Который былъ вознесенъ на третье небо (2 Кор. 12,2).

**ВОСХИЩЕНІЕ** - кража, грабеж, хищение: Ѣже бѣ не восхищеніе бѣти нещевавъ - [Он] (Христос) не предполагалъ быть Богомъ путемъ кражи (Трип. Вел. Пн. 1.) (Ср. искушение Адама: вѣдете ѿково вѣзи - Быт. 3,5), Не оуповайте на неправдѣ, и на восхищеніе не желайте - Не надейтесь на неправедное [дело], и не задумывайте хищения (Пс. 61,11).

**ВОСХИЩЕНІЕ ОУМА** - молитвенный экстаз.

**ВОСХОДЪ** - 1. лестница, ступени: Почто не имѣмъ вси восхода тверда, бл҃гочестіа - Почему не было у тебя надежной лестницы, благочестия (Вел.К. Чт..3); 2. восхождение: И ѿже на нѣса восходъ ѡбновилаъ вси намъ - И вновь открылъ намъ восхождение на небеса (Стих. воск. гл. 4).

**ВРАГЪ** - 1. неприятель, военный противник, ἐχθρός: Изми мѣ ѿ врагъ моихъ ѿже - Избави меня отъ моихъ противниковъ, Боже (Пс. 58,2); 2. недруг, ненавистник: Любите врагѣи ваши, бл҃гословите кленущыя въ - Любите недруговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ васъ (Мф. 5,44); 3. дьявол, бес (тж.: врагъ невидимый): Да избавиши, ѿже создалъ вси, ѿ работы врагѣа - Чтобы Ты освободилъ техъ, кого создал, отъ рабства у врага (дьявола) (Утр).

**ВРЕДЪ** - бедствие, πῆμα: Авкавныи въ семъ ѡбличивъ вредъ - Восторжествовалъ надъ злымъ бедствиемъ (К. Воздв (Маюм)).

**ВСЕРОДНЫЙ** - 1. всеобщий: Тогово во радѣи вниде смѣртъ всеобщаа, снѣдающая человека - Из-за того вошла всеобщая смѣртъ, пожирающая человека (Стих, гл. 6); 2. прародитель всехъ: ѡвоскресилаъ вси всеобщаго аама - Воскресилъ вместе съ Собою прародителя всехъ, Адама (К.Пасх).

**ВТОРОЕ** - вновь, повторно, во второй разъ: Ѣда можетъ второе внити во оутробѣ матери своеѣ - Разве можетъ вновь войти въ утробу своей матери (Ин. 3,4).

**ВЪНѢ** - всегда: ѿково беззаконіе мое азъ знаю, и грѣхъ мой предо мною ѡсть вънѣ - (Пс. 50,5).

**ВЫСОТА ДНЕЙ** - середина жизни (синон. преполовеніе), τὸ ὕψος τῶν ἡμερῶν: азъ рекохъ въ высотѣ дней моихъ: пойдѣ во врата аадова - Я сказалъ во цвете летъ моихъ: уйду за врата ада (Ис. 38,10).

**ВЫСОТЫ МОРСКІА** - валы: Дивны высоты морскіа (Пс. 92,5).

**ВѢКЪ** - 1. значительный отрезок времени: Иже ѿ ѿца рожденнаго прѣждѣ всѣхъ вѣкѣ (Сим. Веры); 2. вечность, αἰών: Въ вѣкѣ вѣка, во вѣки вѣковѣ; 3. миръ падшій, располагающийся во времени (противопоставленіе вечности) вѣкѣ сей - вѣкѣ вѣдшій - земная и загробная жизнь: Не ѡпастѣтсѣ ѡмѣ ни въ сей вѣкѣ, ни въ вѣдшій (Мф.

12,32); **КНА́ЗЪ ВѢ́КА СЕГѠ** - дьявол (синон. кнѧ́зъ мѧ́ра): **И́ко сѣ́нове вѣ́ка сего́ мѣдрѣиши ꙗ́че сынѡвъ свѣ́та въ ро́дѣ́ своѣ́мъ сѣ́тъ - Ибо дети мира сего́ мудрее детей́ свѣ́та в своемъ родѣ́ (Лк. 16,8), и печѧ́ль вѣ́ка сего́, и ле́сть богѧ́тства подавѧ́етъ́ сло́во - И забота́ мира сего́ и соблазнъ богѧ́тства подавѧ́етъ́ сло́во (Мф. 13,22).**

**ВѢ́НЧАНІ́Е** - венецъ: **Рѧ́дѧ́са, стра́дальцевъ вѣ́нчаніе́ (Ак.Б..).**

**ВѢ́РА** - 1. доверіе, вера, **πίστις**: **Держѧ́и́ дѧ́шн, вѣ́ра твоѧ́ спасѣ́ тѧ́ (Мф. 9,22), и вѣ́рова Авраѧ́мъ бѣ́гъ, и вѣ́рѧ́нѧ́са бѣ́мъ въ пра́вдѧ́ - И поверилъ Авраамъ Богу, и это зачлось ему за праведность (Быт. 15,6); 2. верность: **Что́ во, ꙗ́ще не вѣ́ропаша нѣ́цын; ѡ́дѧ́ (оубо) невѣ́рствіе́ ѧ́хъ вѣ́рѧ́ вѣ́рю оупразднѧ́тъ - И что́ же, если ины́е были неверны, уничтожит ли их неверность, верность Бога? (Рим. 3,3).****

**ВѢ́РНТИ** (вѣ́рю), **ВѢ́РОВАТИ** (вѣ́рѧю) - 1. доверять, верить (см. вѣ́ра,1): **Вѣ́рѧ́и въ мѧ́, ѧ́мать живѡ́тъ вѣ́чнѧ́и (Ин. 6,47); 2. быть верным, хранить верность (см. вѣ́ра 2).**

**ВѢ́РНЫ́Й** - 1. имеющий веру, верующий (см. вѣ́ра 1): **и́ принеси́ рѣ́къ твою́ и вложи́ въ рѣ́бра моѧ́: и не вѣ́ди невѣ́ренъ, но вѣ́ренъ - И подними́ руку твою́ и вложи́ в ребра Мои, и не будь неверующим, но будь верующим (Ин. 20,27); 2. верный, правдивый, достойный доверія: **Вѣ́рнѧ́и въ мѧ́мѣ́, и во мно́зѣ́ вѣ́ренъ ѡ́стѧ́ (Лк. 16,10).****

**ВѢ́РНѠ**, **ВѢ́РНѢ́** - с верой, **πιστῶς**: **Мы́ же та́инствѧ́ днѧ́щеса, вѣ́рнѠ вопі́емъ - Мы́ же, дивя́сь та́инству, с веро́й восклицаемъ (Ак. Б.).**

**ГА́ДАНІ́Е** - 1. загадочное, прикровенное высказывание, **αἰνίγματα**: **рѣ́чи проро́ковъ и га́даніѧ́ воплоще́ніе проѧ́више́ Ѡ́ дѣ́вы твоѣ́ - Изрече́нія проро́ков и загадочны́е образы́ открыло́ Твое́ воплоще́ние от Девы́ (К.Усп. Маю́м); 2. покров, **τρούβηται**: **Помощникъ́ хрѣ́сте ... га́даніе́ воплоще́ніе неизглаго́манно ѧ́мѧ́и - Помощникъ́ Христе́, неизрече́нно имеющий́ воплоще́ние (Своимъ) прикрытие́ем (К.Рожд.2).****

**Гѧ́ДЪ** - присмыкающеся, рептилия: **и́ рече́ бѣ́гъ: да изведе́тъ вѡ́ды гѧ́ды дѧ́шъ живы́хъ - (Быт. 1,20).**

**Гѧ́ВЕЛЬ** - трата, пропажа: **Чесѡ́ рѧ́ди гѧ́вель сѧ́мъ бѣ́сть (Мр. 14,4); Почто́ гѧ́вель сѧ́мъ мѧ́рнѧ́ бѣ́сть - Зачемъ́ эта трата́ мира (Мф. 26,9).**

**Гѧ́ВЛЮЩІ́Й** - переходящий, временный, **ρέωντος**: **Дѣ́лайте́ не вѧ́шно гѧ́влюще́е, но вѧ́шно пребывающее́ въ живѡ́тъ вѣ́чнѧ́и - Готовьте́ не пишу́ временную́, но пишу́, пребывающую́ в вечной жизни́ (Ин. 6,27).**

**Гѧ́ГЛО́ЛЪ** - слово, изрече́ние, высказывание, **ῥήμα**: **Гѧ́дн, къ́ кому́ ѧ́демъ; глаго́лы живѡ́та́ вѣ́чнагѠ ѧ́мѧ́ши - Господи́, к кому́ пойдемъ? У Тебя́ словѧ́ вечной жизни́ (Ин. 6,68).**

**Гѧ́ЛѢ́СЪ** - 1. звук, **φωνή**: **Дѧ́де́ бѣ́здна гѧ́лѢ́сѧ́ своѧ́, высотѧ́ прѧ́внѧ́нѧ́ своѧ́ - Издае́т бѣ́здна шумъ́ свой, высота́ - призраки́ свои. хвѧ́лите́ ѡ́го во гѧ́лѢ́сѣ́ тру́бнѣ́, хвѧ́лите́ ѡ́го во ψάлти́ри и гѧ́слѣ́хъ - Восхваляйте́ Его́ звуками́ трубъ, восхваляйте́ Его́ псалти́рю и гусли́ями (Пс. 150,3), **Досто́енъ ѡ́си во всѧ́ времена́ пѣ́тъ бѣ́ти гѧ́лѢ́сы преподо́бными́ - Ты досто́инъ во все́ времена́ быть́ воспѧ́емъ радостными́ (благоприятными́) звуками́ (голосами́) (Веч.); 2. голос: **Гѧ́лѢ́сомъ́ моѧ́мъ́ ко гѧ́дѧ́ воззва́хъ, гѧ́лѢ́сомъ́ моѧ́мъ́ ко гѧ́дѧ́ помоли́хѧ́ (Пс. 142,2); 3. языкъ, нарече́ние, выговор:******

Она же не прикасатися предлагаетъ, познà во ѿгò и ѿ гласа и ѿ одѣжды - Но она (самаритянка) просит не прикасаться (к ней), потому что узнала Его и по говору, и по одежде - (Синакс. о Самаритянке).;

4. музыкальный термин: система попевок: Слáва, глáсъ ѿ - Слава Отцу и Сыну и Святому Духу; [исполняется] по шестому гласу.

**ГЛАВНѢТИСА** - часто и много думать, размышлять: Въ заповѣдехъ твоихъ поглавноюся, и оубраженю псти твоа (Пс. 118,5), Изыде исавъ главноитиса на поле къ вечеру (Бт. 24,63).

**ГЛАВЛЕНІЕ** - размышление, замысел: Повѣдаша мнѣ законопрестѣпницы главлениа, но не ѿкво законъ твои гди - Беззаконные рассказали мне помышления (замыслы) свои, но не таков закон Твой, Господи (Пс. 118,85).

**ГНАТИ** (гоню), **ГОНѢТИ** (женѣ) - 1. догонять, идти следом: И гнаша ѿгò сѣмонъ, и ѿже съ нимъ - Пошли за Ним следом Симон и другие (Мр, 1,36); 2. следовать, стараться, соблюдать ѿбогáхъ мѣ, занѣ гонáхъ благоствѣнню - Возвели на меня ложь, хотя я следовал благому (Пс. 37,21), Не занѣ оубже достигóхъ ни оубже совершихса: гоню же ѿще и постигнѣ, ѿ немже и постиженъ въхъ ѿ хрста ииса - Не то чтобы я уже достиг или уже стал совершенным, но ревностно следую, чтобы постичь то, что постигло меня от Христа Иисуса (Фил. 3,12), Гони правдѣ - Следуй праведности (1 Тим. 6,11); 3. гнать, преследовать: ѿкво погна врагъ дшш мою (Пс. 142,3).

**ГНИЛЫЙ** - (о слове, помысле) порочный, недостойный, ἀφραυ-βεύτους: Всяко слово гнило да не исхòдитъ изъ оутѣ вашихъ (Еф. 4,29).

**ГОВѢТИ** - бояться, преклоняться Говѣютъ сѣлѣо непрѣстѣпнаго свѣта (Окт, гл. 3, Воскр.полун, п.9).

**ГОДЪ** - 1. срок, час, ѿра: Жена ѿгда раждаетъ, скорбь ѿмать, ѿкво прѣиде годъ ѿл (Ин. 16,21), И все множество людей въ мѣтвѣ дѣл внѣ, въ годъ дѣмѣама - И все множество людей, молясь, оставалось снаружи (храма) в (установленное) время воскурения фимиама (Лк. 1,10), 2. время (обобщенно): Предъ лицемъ твоимъ годы оуклонѣшася - Пред лицом Твоим преклонились времена (К.Преобр.(Маюм)).

**ГОРДОСТЬ** - пышность: Пришедшъ агриппѣ и верникѣи со мноюю гордостю - Когда пришли Агриппа и Верникия с великой пышностью (Деян. 25,23).

**ГОРНИЙ** - 1. нагорный (расположенный на горах): Востáвши же марѣамъ во дни тылѣиде въ горнѣа со тшáнемъ, во градъ ѿдовъ - В те дни Мариам, встав, пошла в горную [область] с поспешностью (с усердием - μετὰ σπουδῆς), в город Иуды (Лк. 1,39); 2. верхний; 3. небесный (антоним дóльний - земной), горниа сѣлы - Ангелы.

**ГОРЪ** - вверх, к небу: Горѣ ѿменимъ сердца - Пусть сердца наши будут к небу (Л.3л).

**ГОТОВЫЙ** - 1. приготовленный: Въ готовое жилище твоѣ, ѿже содѣлалъ ѿси гди, стѣвню юже оуготоваетѣ рѣцѣ твои; 2. находящийся в состоянии готовности: Болáшихъ исцѣлѣтелю готовый (К.Никол).

**ГРОВЪ** - погребальная пещера: ѿкво градеть чась, вчньже вси сѣщѣи во гровѣхъ оусѣвшатъ глáсъ сна вѣлѣа (Ин. 5,28), Мѣжъ нѣкѣи ѿ града, ѿже

и́маше вѣсы ѿ лѣтъ мно́гихъ, и въ рѣзѣ не ѡблача́шеся, и во хра́мѣ не жива́ше, но во гробѣ́хъ - Некий человек из города, имевший [в себе] бесов уже много лет, а в платье не одевавшийся, и живавший не в доме, а в гробнице (Лк. 8,27), и сѣшми́хъ во гробѣ́хъ живото́хъ дарова́хъ (Троп.Пасхи).

*Продолжение следует.*

#### ЛИТЕРАТУРА.

1. Ильминский Н. Слова, по своему составу и корню тождественные с русскими, но в древнеславянском языке имеющие другое значение. - Н.Ильминский. Обучение церковнославянской грамоте в церковно-приходских школах и реальных училищах. Кн. 1. Спб, 1891, с. 77-85.

---

Оригинал-макет этого материала изготовлен в Синодальной библиотеке Московского Патриархата.





# ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

*Свод древнейших письменных известий о славянах.* Т. I. (I—VI вв.) / Отв. ред. Л. А. Гиндин, Г. Г. Литаврин. М., 1991, 472 с., карта

Известия древних авторов о славянах составляют достаточно ограниченный и давно ставший хрестоматийным корпус источников, что привело в науке к парадоксальному явлению. Анализ источника стал подменяться чисто «потребительским» отношением — поиском «совпадений» данных того или иного фрагмента известий о славянах (или даже отдельных слов, будь то этникон или топоним) и материалов археологии, гидронимии и т. д., что приводит к бесконечной «мультипликации» теорий славянского этногенеза, размещения венедов/венетов и т. п. Научное, подробно комментированное издание свода латинских и греческих текстов с параллельным и заново выполненным переводом, стало необходимым не только потому, что такой свод дает наиболее полный набор эксцерптов<sup>1</sup>, где говорится о славянах (составителями — Л. А. Гиндиным, С. А. Ивановым, Г. Г. Литавриным — учтена даже титулатура византийских императоров). Свод важен потому, что только сравнительно-исторический анализ текстов, предложенный в комментариях, позволяет отличить актуальный исторический факт от книжной традиции или даже вымысла, «басен», рассказывавшихся многими историками древности о «диких» народах, варварах, к каковым ими относились и славяне.

Конечно, такое различие не всегда абсолютно (и вымысел формирует «исторический портрет» описываемого) и даже возможно, что отмечено в предисловии ответственными редакторами (с. 14—15). Но определенный гиперкритицизм комментаторов в отношении «славянства» венедов или антов ныне представляется не только естественным, но и не-

<sup>1</sup> Эксцерпты предваряются общим текстологическим комментарием, необходимым для понимания контекста, из которого изъят тот или иной отрывок.

обходимым, ибо в науке уже возникли утвердившиеся «штампы», которые следует преодолеть.

Это едва ли не в первую очередь касается проблемы предыстории славянства, которой посвящен первый раздел «Свода». Раздел объединяет сведения Плиния, Тацита, Птолемея и Певтингеровой карты о венетах/венетах и Приска о быте варваров гуннской эпохи; собственно славяне (под самоназванием \**slouyne*) в этих источниках не упомянуты, но позднейшие (Иордан) отождествления венедов со славянами, равно как и филологические исследования лексики, передаваемой Приском, со времен Й. Шафарика позволили увязывать эти сведения с ними. Подобный подход — стремление «прикрепить» по возможности большее количество фактов к истории славянства, оправданный для эпохи «славянского возрождения» и становления славяноведения, — сейчас выглядит слишком прямолинейным и упрощенным. Это становится очевидным уже при анализе сведений упомянутых авторов о венетах, проведенном Ф. В. Шеловым-Коведяевым: венеды/венеты оставались для них традиционным обозначением варварского народа на краю ойкумены, сопоставление их быта с бытом германцев или сарматов соответствовало «риторическим приемам» античных историографов (с. 43), сведения Птолемея не добавляют ничего существенного к известиям Плиния и Тацита. Крайней осторожности требует и привлечение данных Певтингеровой карты, восходящих к III в. н. э.: двойная локализация венедов на карте, в том числе упоминание венедов-сарматов, как убедительно показывает в комментариях А. В. Подосинов, может восходить к известиям Тацита, но не к этногеографической реальности (с. 71). Исследователи, до сих пор стремящиеся прямо и определенно локализовать ве-

недов на основании античных источников (из последних работ см. [1]), не учитывают того достаточно очевидного факта, что древние, поставшие традиционными этники («скифы», «гунны», «сарматы» и т. п.) прочно входят в этногеографическую номенклатуру всей древней и средневековой эпохи: «научная» работа античных и средневековых авторов во многом и заключалась в том, чтобы «совместить» традиционные представления (этнонимы и т. п.) с актуальными сведениями. Попытки современных авторов отождествить древние представления с собственными (например, венедов с носителями пшеворской культуры) без текстологического анализа контекста древних источников, по существу, продолжают эту традицию.

Так и Приск, византийский автор V в., фрагменты «Истории» которого завершают раздел по предыстории славян, называл описываемых им варваров, находившихся под властью гуннов, «скифами». Как отмечают Л. А. Гиндин и А. Б. Иванчик (с. 94, комментарий 19), этот этникс обозначал в соответствии с «архаизирующей традицией» северных варваров вообще, в том числе и оседлых. Описание быта этих «скифов» и вызывает «славянские» ассоциации: использование однодревков-моноксил (характерное для славян от первых балканских походов до последнего похода Руси на Царьград в 1043 г.), наличие посевов проса и т. п. Комментаторы правы, когда подчеркивают этническую неопределенность этих «хозяйственно-культурных» характеристик; не ясен и язык, которым пользовались эти варвары (с. 95, комментарий 24); добавим, что неизвестен у славян и обычай «гостеприимного гетеризма», упоминаемый Приском у «скифов» (с. 87). Однако Л. А. Гиндину удалось показать вероятность отражения славянского языкового влияния в гидрониме Тиса у Приска (с. 92, комментарий 15), а также древнейшую фиксацию у него славянского слова «мед, медовый хмельной напиток» (*μέλιδοξ*) — свидетельство пребывания славян на Среднем Дунае уже в правление Аттілы, в середине V в. Это удревяняет время первого упоминания собственно славян (у Прокопия Кесарийского) более чем на полстолетия и, кроме того, внушает определенный оптимизм для поисков славянских археологических памятников гуннского времени (ср. попытки их выделения в Юго-Восточной Европе [2]).

Второй раздел «Свода» посвящен сведениям о склавинах и антах. Эксерпты из «Гетики» готского историка VI в., Иордана прокоммен-

тированы А. Н. Анфертьевым (с дополнениями Л. А. Гиндина и Ф. В. Шелова-Коведяева), внесшим значительные уточнения в понимание текста (в частности, по сравнению с изданием Е. Ч. Скржинской). Существеннейшим (и подтверждающим данные первого раздела) результатом текстологического анализа является вывод комментатора о разном происхождении информации о венетах, с одной стороны, и антах и склавинах — с другой, у Иордана и его предшественника Кассиодора. Действительно, «многочисленное племя венетов», обитающее «на огромных пространствах» «от истоков реки Вистулы» — дань античной традиции, отождествление же их со славянами (Sclaveni) и антами — ученая конструкция историков VI в.: тех и других могут разделять полтысячелетия (ср. с. 131—132, с. 153—154). Этим совмещением «венетской» традиции и данных о «склавинах» объясняются, видимо, и сложности, с которыми сталкиваются исследователи при попытках точно локализовать Новьетун и Мурсианское озеро (ср. с. 132—134, комментарий 103, 106).

А. Н. Анфертьев развенчивает до сих пор удерживающийся в отечественной литературе историографический миф о «державе Германариха», охватывавшей чуть ли не всю Восточную Европу от Причерноморья до Прибалтики: перечень народов, подвластных Германариху (Эрменрику) согласно одному из списков (с. 149, комментарий 177), содержит 11 названий, что подтверждает достаточно давнее прочтение текста, в соответствии с которым перечень начинается не с народа Thiudos («чудь»), а с обобщения — «(кельто)скифские народы» или «скифские народы»<sup>2</sup>, где Thiudos означает «народы». Нельзя не добавить к этому, что этнонимы Merens и Mordens, кажущиеся «понятными» у Иордана по сравнению с прочими, представляют собой экзонимы — названия, данные извне (видимо, иранского происхождения), и отождествление их с «мордвой» и «мерей» средневековых источников более чем проблематично.

Комментатор придерживается убедительной и практически общепринятой точки зрения о славянах (склавенах) Иордана как носителях пражской культуры (культуры Прага — Корчак, в связи с чем следовало бы сослаться, в первую очередь, на работу И. П. Русановой,

<sup>2</sup> Е. А. Мельникова подкрепляет подобное прочтение у И. Коркканен сравнительно-типологическим анализом других списков народов в средневековых источниках [3].

не раз упомянутую в «Своде»). Сложнее вопрос об антах, упоминаемых, как правило, наряду со славянами (и венетами) у Иордана. В комментариях (с. 159—160) большое внимание уделено легендарной истории войны с антами в IV в., (расправа над их пресловутым «королем» Бозом и 70 знатными людьми), в связи с чем справедливо подчеркивается, что связь антов IV в., с антами VI в., современниками Иордана, равно как тех и других со славянами не вполне ясна. В археологии антам приписывается пеньковская культура, ареал которой примыкает в лесостепи к ареалу пражской культуры с юго-востока, ее памятники также распространяются до Дуная (ср. работы И. Вернера [4], В. В. Седова и других авторов, цитируемых в комментариях к «Своду»). О славянской принадлежности пеньковской культуры идут споры, что и естественно, если учитывать наличие определенно кочевнических древностей в ее ареале. Поэтому существенны упоминания А. Н. Анфертьевым данные Прокопия и других авторов об объединенном натиске славян, антов и «гунов» (булгар) на Византию в VI в., (о чем подробнее сказано в соответствующих комментариях).

Специальный комментарий (Л. А. Гиндина и Ф. В. Шелова-Коведяева) посвящен описанию похорон Аттилы, прежде всего — термину «страва», обозначающему погребальное пиршество у славян (с. 163 и сл.), что также может свидетельствовать о «славяно-гуннском синтезе» в середине V в., заимствовании гуннами их терминов (ср. с. 166—167).

Наиболее значительным и по объему, и по разнообразию известий о славянах является эксерпт из «Истории войн» Прокопия Кесарийского (перевод и комментарии С. А. Иванова, Л. А. Гиндина и В. Л. Цымбурского). В первом же упоминании склавинов и анты объединены с «гунами», причем составляют с ними кошное войско (с. 177): само по себе это сообщение продолжает тему «этносоциального симбиоза» славян и кочевых народов на Дунае — в данном случае под «гунами» подразумеваются, видимо, протобулгары (ср. с. 209, комментарии 8—10 и последующие упоминания тех же трех народов на с. 181, 203, 205). В хрестоматийном пассаже о быте склавинов и антов существеннейшим является уточнение традиционного перевода: «Они считают, что один из богов — создатель молнии — именно он есть единый владыка всего» (с. 183); ранее переводилось: «Один только бог, творец молний, является владыкой над всеми», что интерпретировалось как тяготение славян

к «монотеизму» (ср. во введении к «Своду» и с. 221—222). В целом, в этнографической характеристике склавинов и антов присутствуют выявляемые в комментариях стереотипы описаний варваров, но многие черты их быта соответствуют реалиям, известным по археологическим данным, в том числе, частая смена мест поселений соответствует подсечно-огневому способу земледелия (ср. с. 224)<sup>3</sup>. При этом без комментария оставлено утверждение Прокопия о едином («совершенно варварском») языке склавинов и антов (что представляется существенным, так как сам этникон «анты» неславянский).

Напротив, во фрагменте из Псевдо-Кесария, видимо, абсолютно преобладают стереотипы описания «диких» народов, и параллели в верованиях и обрядах славян, отыскиваемые Ф. Малингудисом (ср. комментарии С. А. Иванова, с. 257—259), скорее относятся к совпадающим характеристикам «нечистых» народов и «нечистой силы», чем к реалиям славянского быта.

Анты упоминаются в титулатуре византийских императоров (533—612 гг.) наряду с прочими «подвластными» народами — между германцами и алапами, но не восточноевропейскими, а африканскими (см. с. 260—264, комментарий С. А. Иванова); в хронике Иоанна Малалы, напротив, упомянуты одни «склавы», которые, опять-таки, совместно с «гунами» (здесь — кутригурами) нападали на Фракию в 559 г. (ср. комментарий Г. Г. Литаврина, с. 271—272). Об опустошительном походе славян на Фракию в царствование Тиверия свидетельствует сирийский автор Иоанн Эфесский. Следующий поход они совершают, согласно сирийскому источнику, будучи под властью аваров, греки подкупают антов, и те нападают на землю славян (перевод и комментарии сирийских источников — Н. И. Серикова). О столкновениях антов и славян сообщал еще Прокопий, но существенным представляется раздельное их упоминание в более поздних источниках. В дальнейшем, у Агафия Миринейского (перевод и комментарии И. А. Левинской и С. Р. Тохтасьева) также раздельно упомянуты ант Дабрагез и славянин Сваруна; впрочем, комментаторы не находят

<sup>3</sup> Преувеличением можно считать интерпретацию денежного выкупа (за раба), как свидетельство монетного обращения у славян (с. 218, комментарий 57). Находки «импертных» монет на поселениях и вкладах — еще не свидетельство товарно-денежных отношений (см. 5).

надежных соответствий в славянской ономастике ни для одного, ни для другого имени. Более определенно можно судить о славянстве «ангского» имени Мезамер у Меландра Протектора (те же комментаторы, с. 330—331), но имя отца Мезамера — Идаризий — неславянское, а имя его брата Келагаста могло, как и имя Мезамер, принадлежать как славянам, так и германцам (ср. также об имени «славяннина» Даврентия, с. 349—350). Конечно, ономастикон не может прямо свидетельствовать об этносе антов, даже при учете этнически смешанного характера пеньковской культуры (ср. с. 333—334, а также данные о готском происхождении имени Аттилы и т. п., см. во введении к «Своду», с. 16), но в принципе детальное исследование этого ономастикона в комментариях значительно расширяет возможности изучения того германо-ирано-тюркского контекста, в котором проходила ранняя история славянства.

Меландр передает важнейшие известия об аварском периоде этой истории, в частности, об опустошении аварами земли антов около 560 г. (с. 316—317); комментаторы отмечают, что после 60-х годов VI в. источники больше не сообщают об ангских набегах, при том, что вообще упоминания об ангах встречаются вплоть до начала VII в. (с. 339; ср. упоминания в титулатуре императоров до 612 г.). (Следует отметить, в связи с этим, что приписываемая антам пеньковская культура продолжает существовать в VII в. вплоть до хазарского нашествия.) Таким образом, очевидно характерное для источников второй половины VI в. разделение исторических судеб антов и славян — первые прекращают походы на империю, вторые, напротив, начинают заселять Грецию (ср. данные Иоанна Эфесского, комментарий на с. 355—356).

В эпитафии Мартина Бракарского (комментарий С. А. Иванова) лишь славяне («склавы») упомянуты между ругами и нориками; в византийском анонимном военном трактате (комментарий того же автора), составленном после 70-х годов VI в., анты и склавы упомянуты в одном контексте с «сарацинами», что напоминает о традиционном объединении славян и антов с кочевниками в ранних источниках, если бы не дальнейшее противопоставление их «скифам» (аварам и «туркам» у Маврикия, который пользовался тем же источником, что и аноним, с. 361, 363).

В «Стратегиконе» Маврикия (конец VI в., комментарий В. В. Кучмы) «склавы и анты» вновь объединены и характеризуются часто в

соответствии с традиционными описаниями варварских народов (отсутствие «порядка и власти», «вероломство в соглашениях» и т. п.). В. В. Кучма справедливо отмечает, что «отличие от Прокопия, Маврикий нигде не говорит о каком бы то ни было этническом родстве склавов и антов, указывая лишь на единство их нравов» (с. 380). «Актуальными», относящимися к реалиям славянского быта, являются известия о хозяйстве, скотоводстве и земледелии; в принципе они соответствуют археологическим данным, но в литературе существует некоторая путаница в определении «хозяйственно-культурного типа» славян (ср. комментарий на с. 383) — подсечно-огневой способ подготовки пашни не является альтернативой пашенному земледелию. Неясно, насколько соответствует реалиям представление о самоубийстве вдовы на похоронах мужа: сходные известия содержат позднейшие восточные источники о славянах и русах, в языческой Руси действительно практиковались парные погребения в X в., но подобный обычай у славян археологически неизвестен. Описание поселений в целом соответствует синхронным археологическим памятникам (с. 384; в комментарии — опечатка: пражская культура датируется VI—VII вв. в целом). Известие о том, что склавы и анты хранят свои ценности в тайниках, породило в историографии (начиная с А. А. Спицына) представления о «древностях антов» — «кладах», зарытых в Среднем Поднепровье и других регионах в VI—VII вв.; датировка этих «кладов» шире, чем даты упоминаний антов в источниках, вещи же из кладов (как и инвентарь пеньковской культуры) находят широкие аналогии в древностях восточноевропейских степей. К сожалению, минимальны археологические данные о вооружении славян «догосударственного периода» (вопреки комментарию, с. 385), так как у славян не было обычая класть оружие в погребение, но представления византийских авторов о слабой вооруженности славян (и даже германцев), вероятно, следует относить к стереотипам описания варваров. Может быть, заслуживает внимания сообщение об «отчаянных юношах», составляющих особые отряды и внезапно атаковавших византийских стратиотов, в связи с праслав. \**junakъ* «герой, молодец, юнак» (ср. др.-рус. отрокъ — обозначение члена младшей дружины).

«Свод» завершается известиями латинской хроники Иоанна Бикларского о нападениях славян (и аваров) на балканские провинции

Византии в 576—581 гг. Комментатор (А. Б. Черник) отмечает смешение в источниках (в том числе у Иоанна) славян и аваров: это смешение (сохранявшееся в источниках вплоть до Константина Багрянородного), вероятно, во многом было реальным (судя по данным археологии).

В «Свод» не было включено известие, которое (с легкой руки Б. А. Рыбакова и др.) вошло в учебники как древнейшее свидетельство о руси: упоминание сирийским автором VI в. Захарией Ритором «народа» ерос («рос» или «рус» в интерпретации Н. В. Пигулевской). А. Н. Анфертьев (с. 155) указывает (вслед за А. И. Поповым) на эту интерпретацию, как на «грубую ошибку»: действительно, контекст, в котором упоминается «народ» ерос — амазонки, поглавцы, карлики — не оставляет места даже для характеристики его как «могучего северного народа» (так у Попова); скорее, это — фантастический народ-монстр, обитающий на краю ойкумены, которого не могут носить кони не из-за богатырского сложения, а из-за «длины конечностей».

Несомненно положительным моментом издания следует считать осторожность в вынесении исторических вердиктов, отказ от упрощенных атрибуций, демонстрация в ряде случаев спорности предлагаемых различными учеными решений. Так, в комментарии к тексту Приска подчеркивается, что вопрос об отношениях гуннов со славянами и о вхождении славян в гуннский союз неясен ввиду отсутствия прямых свидетельств об этом (с. 92—95). Тем более важным и деликатным делом оказывается этимологический анализ слов *strava*, *μῆδος*, *κλιον* при решении проблемы о месте славян в структуре гуннского образования. Равным образом открытым следует считать и вопрос о статусе первых известных славянских наемников в византийской армии, что отмечается в комментарии к Прокопию.

Столь же тонким и вдумчивым является отношение исследователей к главным атрибутам стереотипа описания славян. Так, указание Приска на использование придунайскими жителями моноксил, упоминаемых еще у Платона, Аристотеля, Ксенофонта и Страбона, само по себе не может определять славянство населения описываемых в текстах областей: однодеревки именно у славян зафиксированы в источниках более поздних, VII—X вв., — у Феофилакта Симокатты, в Пасхальной хронике, у Константина Багрянородного и др. Таким же образом свидетельство Приска об

употреблении проса придунайскими жителями не может служить само по себе фактором славянской атрибуции, ибо о распространении проса в Причерноморье и на Балканах свидетельствовали в свое время и Геродот, и Плиний, и Дион Кассий, и многие другие; об употреблении проса именно славянами расскажет почти через полтора столетия после Приска лишь «Стратегикон» Маврикия. С другой стороны, верно, что почерпнутые из античного арсенала образы и словесные формулы, характеризующие «варваров», охотно применялись средневековыми историками при описаниях современного им мира, в частности, славянского. Так, выражение «скифская пустыня», известное со времен Аристофана, использовано Прокопием и затем более поздними византийскими авторами применительно и к славянам, и к другим народам Причерноморья.

Вообще, собранные воедино в «Своде» столь различные тексты позволяют наглядно увидеть и зафиксировать даже отдельные словесные формулы при характеристиках изучаемых народов. Так, выражения Прокопия, описывающего вторжения славян (с. 194, 196, 198), почти буквально повторяются в XII в. Киннамом при описании набегов придунайских кочевников на Византию, современником которых он был. Таким образом, актуальные наблюдения авторов накладываются на сетку этикетных клише словесных формул литературной классики, как античной, так и византийской, к которой принадлежал Прокопий.

Филологические аспекты комментариев и атрибуций «Свода» важны как в отношении указанных выше этимологических разработок, так и в анализе этнонимии, прежде всего славянской и с ней связанной. Неоднократно исследователи возвращаются к термину «славяне» («склавины», «склавы» и т. п.). Утверждается исконный характер корневого *l* в этнониме «славяне» (с. 61) при интерпретации птолемеевых *суобенов*, которым отказывается в славянской атрибуции. Вновь об этнониме *склавины/склавыны* речь идет в комментарии к Иордану (с. 127), хотя кажется, что было бы целесообразно о форме имени славян написать где-нибудь в одном месте, лучше всего во введении ко всему изданию, чтобы читателю не приходилось искать спорадически разбросанные по книге характеристики отдельных элементов или звуков этого этнонима. К тому же данные наблюдения неоднозначны. Вряд ли корректна идентификация эпонимического *s* в этнониме *Slavepi* Иордана с элементом *σβλ*-славянского антропонима византийской

писательницы XI в.; кстати, удивляет и случайность самого данного примера из Анны Комниной, хотя *можно привести достаточно* много других аналогичных примеров: *Σφενδοσθλάβος* у Константина Багрянородного, *Νεσισθλάβος*, *Ἱεροσθλάβος*, *Ζινισθλάβος* у Скилицы, *Πριμισθλάβος*, *Ῥωσισθλάβος*, *Ἱερóσθλάβος* у Киннама и др. Все они, однако, относятся к византийской традиции X—XI вв.! Непонятно и противопоставление этнонима *Slavini* как устной латинской формы имени термину *Slaveni* как транслитерации греческого *Σκλαβηνοί* (с. 127) без учета итализма, распространившегося уже ко времени фиксации в текстах данного этника на греческом. Скорее следует согласиться с оценкой *Slaveni* как формы, предполагающей книжный греческий источник.

Аналогичные проблемы возникают и при обращении к этнониму анты. В комментарии к Иордану форма *Antí* оценивается как рефлекс греческого заимствования (из *\*Anteξ*), чем она как будто бы отличается от формы *Antes*. Но ведь и в греческом получил распространение вариант *\*Anteξ*. В дополнение следовало бы указать и на другие известные латинские формы этнонима — *Ancti* и *Anthes*, как и на вариант *Antei*.

Кстати, неунифицированность некоторых комментариев приводит к тому, что в одном случае последнее упоминание об антах датируется 602 г. (с. 381), в другом — 612 г. (с. 232).

Специально следует сказать о внимании составителей «Свода» к рукописной традиции издаваемых текстов. Замечательна колляция чтений различных списков при издании Фрагментов Менандра: данное обстоятельство усиливает и значимость издательской работы в «Своде». Публикация других текстов, хотя и воспроизводит уже существующие издания, но учитывает и рукописные разночтения, а их анализ в разделе о Иордане составляет значительную часть подробных комментариев. Правда, отсутствие унификации и здесь в ряде случаев не позволяет читателю использовать предлагаемую информацию в необходимой полноте. Так, в статье о Птолемея говорится о древнейшем списке (XI в.) текста «Географии», но не указаны его данные, отсутствует он странным образом и в перечне всех рукописей, датируемых в основном XIII—XV вв. Напротив, списки Иордана датированы, но не указаны их шифры, вследствие чего не ясно, о каких собственно списках идет речь

в стемме. Наконец, непонятно, почему невозможно воспроизвести стемму рукописной традиции хроники Иоанна Малалы, если наиболее полный ее список XI в. — единственный и не имеет ни начала, ни конца: фрагменты памятника тоже, как правило, учитываются в текстологической практике, а тем более их разночтения — в практике эдиционной. По-разному иной раз называются списки одной и той же библиотеки (например, то *Cod. Laurentianus*, то *Mediceo-Laurentianus*, то описательно — «флорентийская рукопись» и т. п.). Однако в целом подобное внимание к издаваемым текстам комментаторов и составителей — явление в высшей степени отрадное, служащее во многом гарантом от потребительского поверхностного отношения к анализируемым источникам, отраженным в них этнонимам, антропонимам, другим именам, терминам, заимствованным словам.

Терминологические проблемы возникают и при первом чтении переводов. Если перевод *δύοιρον* у Маврикия как «две мори» (воинские подразделения) кажется оправданным, то передача *μοτραν δέ τνα* (с. 372) в виде технического термина безусловна: скорее в тексте имеется в виду «какая-то часть» (кавалерии); в техническом же смысле выражение «одну миру» скорее имело бы вид *μισν μοτραν*. Не обязательно в переводе сохранять «опистофилаки» вместо «воины арьергарда», а «хории» вместо «селения» (с. 377), в противном случае пришлось бы и *κῶμαι* у Приска (с. 84) передать как некие «комы». Представляется, что все эти термины могут быть достаточно точно переданы русскими эквивалентами, а не транслитерироваться. Напротив, передача *ῥῆγεξ* (с. 375) как «вожди» затушевывает специфику латинизированного облика социально-политического термина, примененного Маврикием по отношению к «склавам» и антам. Вряд ли характеристику политического строя славян у Маврикия (*μοναρχία*, т. е. единоначалие) следует передавать как «монархия» (с. 375): это слово влечет за собой значительно более широкий, да и в наших условиях особый, семантический шлейф. Впрочем, во всех данных случаях переводчик поступал совершенно сознательно, что обосновывается им в комментариях.

Более существенным представляется отсутствие специальных глав (с публикацией текстов и комментариев), посвященных Марцелину Комиту и Евагрию, хотя оба *ad hoc*

цитируются в комментариях к Прокопию и Менандру. Свидетельства первых двух авторов заслуживают самостоятельного рассмотрения.

То же относится и к текстам императорских новелл Юстиниана, сознательно (что оговорено) помещенных издателями в комментариях к Прокопию. Поскольку тексты новелл сами нуждаются в истолковании и в информации об историческом и юридическом контексте цитируемых фрагментов, хотелось бы видеть самостоятельный раздел, посвященный этому виду источника.

При издании эксцерптов вообще очень важен контекст, и издатели Прокопия или Агафия в «Своде» это прекрасно демонстрируют, «вводя» читателя в содержание тех описаний, из состава которых вынужденно вырываются издаваемые отрывки. Вместе с тем очень недостает подобных отсылок к контексту фрагментов Плиния, Псевдо-Кесария, Иоанна Эфесского и др. Нет точных выходных данных повествовательно упоминаемых изданий Плиния (с. 21), Тацита (с. 39), Птолемея (с. 46, 49) и других, в результате чего затрудняется обращение читателя к этим публикациям. Желательно было бы всем издаваемым текстам предпосылать хотя бы заглавие сочинения (имеется только у Прокопия, Иоанна Эфесского и Мартина Бракарского), а еще лучше давать развернутую лемму сочинения на языке оригинала и в переводе, как это делается в изданиях серии «Древнейшие источники по истории народов СССР».

Комментарий, касающийся племени амаксовиев у Прокопия (с. 248, комментарий 233), ограничивается отсылками к Птолемею, хотя о них имеются упоминания у Капеллы, Адама Бремениского, в хронике Дудона, Монеувасийской хронике, в *Eupologicum Magnum*, у Евагрия, позже — у Евстафия Солунского и Никифора Каллиста Ксанфорула.

Комментарий, касающийся элемента *γάρδος* в топониме у Агафия, может иметь более широкий круг аналогий и параллелей, в том числе византийских [6]. Довольно известное в Византии личное имя *Σήφ* обычно передают как Сиф, а не Сеф (с. 323).

Наконец, можно сделать добавления и библиографического характера. Так, в издании не упомянута современная (хотя и пресекавшаяся) немецкая серия текстов «Глоссар по раннесредневековой истории Восточной Европы», отдельные выпуски которой специально посвящены склaviнам, а также антам [7]. Ряд используемых в рецензируемой книге текстов имеется в сводном издании фрагментов сви-

детельств о гепидах [8], также не упомянутом. Теперь можно добавить и новые справочники-исследования по раннесредневековой этнонимии В. П. Будановой [9]. Вообще, библиография должна быть дополнена не одной важной работой по тематике «Свода» [10]. Впрочем, эти работы могут быть учтены в последующих томах серии.

Издание снабжено подробными ономастическими указателями, в том числе латинским и греческим.

«Свод» безусловно станет необходимым пособием для историков славянства. Ныне можно определенно констатировать, что в отечественной науке происходит поворот от поисков соответствий устоявшимся схемам социально-экономического и этнического развития к изданию, изучению и углубленному пониманию источников, т. е. собственно к истории. Институт славяноведения и балканистики РАН последовательно осуществлял этот подход, начиная с конца 50-х годов (серия «Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы»). Продолжение этой деятельности, надо надеяться, составит одно из магистральных направлений исторической науки, и скорейшее издание второго тома «Свода древнейших письменных известий о славянах» упрочит фундаментальную источниковую базу этого направления.

Бибиков М. В., Петрухин В. Я.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хензель В. Венеты, венецы и их связь с населением Северной Италии и Польши.— В кн.: Древности славян и Руси. М., 1988, с. 158—161; Славяне. Этногенез и этническая история. Л., 1989; Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. Киев, 1990; Кляница З., Тржещтик Д. Первые славяне в Среднем Подунавье и в Полабье.— В кн.: Раннефеодальные государства и народности. М., 1991, с. 7—26.
2. Баран В. Д., Гороховский Е. Л., Магомедов Б. В. Черняховская культура и готская проблема.— В кн.: Славяне и Русь (в зарубежной историографии). Киев, 1990, с. 70—71.
3. Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. Русь и чужд.— В кн.: Балто-славянские исследования (в печати).
4. Вернер И. К. К происхождению антов и склавенов.— Советская археология, 1972, № 4, с. 102—115.
5. Кропоткин В. В. Экономические связи Восточной Европы в I тыс. н. э. М., 1967, с. 123—126.
6. Константиш Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989, с. 310.
7. Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte

- im östlichen Europa. Begr. u. Hrsg. v. J. Ferluga, M. Hellmann, F. Kämpfer, K. Zernack. Serie A. Lateinische Namen bis 900. Bd. I—III; Stuttgart, 1973—1986; Serie B. Griechische Namen bis 1025. Bd. I—II, Stuttgart, 1974—1986; Das Ethnikon Sklabenoi, Sklaboi in den griechischen Quellen bis 1025/Bearb. v. G. Weiß. Beiheft 5. Stuttgart, 1988.
8. *Lakatos P.* Quellenbuch zur Geschichte der Gepiden. Szeged, 1973.
9. *Буданова В. П.* Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 1990; *Буданова В. П.* Этнонимия племен Западной Европы: рубеж античности и средневековья. М., 1991.
10. *Zakynthos D. A.* *Oi Slávoi én 'Elládi.* Athenes, 1945; *Popović I.* Die Einwanderung der Slaven in das Oströmische Reich in Lichte der Sprachforschung.— *Zeitschrift für Slawistik*, 1959, № 4; *Nystrazopulu-Pelekidu M.* *Συμβολή εἰς τὴν χρονολόγησιν τῶν ἄβαρικῶν καὶ σλαβικῶν ἐπιδρομῶν ἐπὶ Μαυρίκιον* (582—602) — *Σημεικτα*, 1970, т. 2; *Abramiea A.* *Σημείωμα γιὰ τὸ ἐθνικο ὄνομα «Σλαβος» καὶ τὴ σημασιολογικὴ τὸν ἐξέλιξη στὶς βυζαντι-*

*νὲξ πηγῆς.*— *Ἑλληνικά*, 1972, т. 25; *Graebner M. D.* The Role of the Slavs within the Byzantine Empire 500—1018. New Brunswick, 1975; *Charanis P.* The Slavs, Byzantium and the Historical Significance of the First Bulgarian Kingdom.— *Balkan Studies*, 1976, vol. 17; *Wilita J. E.* The Ethnika in Byzantine Military Treatises. Minneapolis, 1977; *Weithmann W.* Die Slavische Bevölkerung auf der griechischen Halbinsel. Ein Beitrag zur historischen Ethnographie. München, 1978; *Koder J.* Zur Frage der slavischen Siedlungsgebiete im mittelalterlichen Griechenland.— *Byzantinische Zeitschrift*, 1978; N. 71; *Vryonis Sp.* The Evolution of Slavic Invasions in Greece.— *Ἠστορία*, 1981, т. 50; *Čačić J.* The Emergence of the Sklabenoi (Slavs), their Arrival on the Balkan Peninsula, and the Role of the Avars in these Events, Revised Concepts in a New Perspective. New York, 1983; *Ferluga J.* Gli slavi del sud e altri gruppi etnici di fronte a Bizanzio.— In: *Gli Slavi occidentali e meridionali nell'alto medioevo*. T. 1. Spoleto, 1983.

### 3. В. НАМАВИЧИУС. Лелевель. М., 1991, 112 с.

Небольшая книга литовского исследователя 3. В. Намавичюса основана на материалах его диссертации на соискание степени кандидата юридических наук, защищенной в Московском университете [1] (см. также [2; 3]). Она состоит из введения и шести разделов (Жизнь и политическая деятельность; Взгляды на историю и политику; О происхождении и развитии общественного неравенства; О социальной революции и национальном освобождении Польши; О происхождении, развитии и формах государства; Право — прошлое и будущее), посвященных жизни и взглядам выдающегося польского историка, демократа, революционера XIX в. И. Лелевеля.

Положенный в основу книги проблемный принцип анализа, особенно в тех случаях, когда он сочетается с хронологическим рассмотрением трудов И. Лелевеля, позволяет проследить развитие его взглядов и решить главную задачу, поставленную автором, — критически изложить политико-правовую концепцию историка. Разделы книги, посвященные этим проблемам, представляют наибольший интерес. Правовая теория Лелевеля недостаточно изучена в польской историко-правовой литературе и почти не привлекала внимание отечественных ученых. Намавичюс

фактически впервые среди русскоязычных авторов специально поставил и рассмотрел проблему «Лелевель как историк государства и права». Но решение этого главного для автора книги вопроса невозможно без рассмотрения исторических и социологических взглядов Лелевеля, его политической программы и общественно-политической деятельности. Поэтому эти сюжеты вполне правомочно рассматриваются в рецензируемой книге.

Она написана на основе изучения исторических трудов, политических документов, переписки И. Лелевеля, достаточно обширной литературы на польском, русском и литовском языках. Правда, ряд позиций, относящихся к «лелевелиане», к сожалению, не привлек внимание автора [4]. Намавичюс использовал также некоторые документы из Центрального государственного исторического архива Литвы. Среди них наибольший интерес представляют материалы Комитета для исправления издания Литовского статуса, в работе которого принимал участие Лелевель вместе со своим коллегой и другом профессором Виленского университета И. Даниловичем. Но этот сюжет, не нашедший достаточного отражения в литературе, освещен в книге очень кратко (с. 80—81). Он может стать составной частью интересной



и малоисследованной проблемы «Лелевель и Литва». При ее изучении предстоит в полной мере осветить влияние Лелевеля на современное ему литовское общество, судьбы и роль его учеников по Виленскому университету в развитии культуры Литвы.

Заметим, что в книге Намавичюса встречаются фактические неточности. Укажем некоторые из них. В 1795 г. Австрия, Пруссия и Россия, осуществившие третий раздел Речи Посполитой, не составляли Священный союз (с. 5). Работа И. Лелевеля «История Польши до конца правления Стефана Батория» была издана не в 1813 г., а только после смерти автора (даваемые Намавичюсом варианты перевода «царствования» (с. 5) или «властвования» (с. 72) представляются неудачными). Царская цензура не распоряжалась о прекращении публикации рецензии Лелевеля на «Историю государства Российского» Карамзина в «Северном архиве» (с. 9). Двухтомная «История Польши» Лелевеля на французском языке в 1844 г. была издана впервые, а не во второй раз (с. 17). Лелевель не был сторонником норманской теории (с. 33). Он не организовывал манифестацию в честь декабристов в январе 1831 г. (с. 55). Проведение этой манифестации было делом всего демократического лагеря восстания. Конспираторы, участвовавшие в восстании в 1830 г., познакомили Лелевеля со своими планами только накануне выступления, поэтому неверно утверждение, что он «втянулся» в работу по подготовке восстания. Приводимая для подтверждения этого вывода цитата из воспоминаний историка относится не к периоду восстания, а к предвосстановительному времени (с. 11).

В книге З. В. Намавичюса имеются выводы и определения, отличающиеся от оценок, уже утвердившихся в научной литературе о Лелевеле, неподкрепленные какими-либо новыми документами или аргументами. Нам представляется, что Лелевеля нельзя называть революционным демократом (с. 21) или изображать его мыслителем, приближавшимся к иде-

ям утопического социализма (с. 51), выразителем чаяний крепостного крестьянства (с. 53).

В приложении к книге опубликованы отрывки из текстов Лелевеля. Однако четыре отрывка из восьми заимствованы из второго тома «Избранных произведений прогрессивных польских мыслителей». Это уникальное издание, сохранившее свое значение до настоящего времени, вполне доступно для заинтересованного читателя. По нашему мнению, было бы более целесообразно напечатать в приложении тексты (или их отрывки) польского историка-демократа, которые еще не переводились на русский язык

Попков Б. С.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Намавичюс З. В.* Политическое учение Иоахима Лелевеля: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. юридич. наук. М., 1973.
2. *Намавичюс З. В.* Политическая деятельность Иоахима Лелевеля.— Вестник МГУ. Серия XII. Право, 1973, № 3.
3. *Намавичюс З. В.* Социально-политические взгляды Иоахима Лелевеля.— Вестник МГУ. Серия XII. Право, 1973, № 5.
4. *Басевич А. М.* Иоахим Лелевель как исследователь (К столетию со дня смерти).— Вопросы истории, 1961, № 5; *Басевич А. М.* Иоахим Лелевель накануне и в период польского восстания 1830—1831 гг.— Ученые записки Марийского гос. педагогического института. Т. 21. Йошкар-Ола, 1958; *Ноневич Г. П.* Социально-экономические взгляды Иоахима Лелевеля: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. эконом. наук. Вильнюс, 1969; *Šidlauskas A.* Istorija Vilniaus Univeritete XIX a. pirmojoje puseje. Vilnius, 1986; *Korzon K.* Nieznane listy Joachima Lelewela do Seweryna Gałęzowskiego.— Ze skarbca kultury, zes. 34. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1980; *Grabski A. F.* Joachima Lelewela koncepcja dziejów Polski.— In: *Grabski A. F.* Perspektywy przeszłości. Studia i szkice historiograficzne. Lublin, 1983.

В течение нескольких десятилетий советские обществоведы в исследованиях, посвященных послевоенной истории стран Центральной и Восточной Европы, сосредоточивали внимание в угоду догмам и шаблонам идеологизированных схем на считавшейся приоритетной триаде: индустриализация, коллективизация (кооперирование сельского хозяйства) и культурная революция. Сюда же можно отнести и работы, доказывавшие абсолютную необходимость национализации промышленности, прославлявшие ее эффективность даже во времена, когда отрицательные и, более того, фатальные последствия этой национализации уже были видны невооруженным глазом. Лишь к концу 80-х годов, когда ситуация коренным образом изменилась, исследователи как в странах региона, так и в тогдашнем СССР начали уделять внимание и другим сторонам экономической истории. Весьма любопытно, что по времени это совпало с всплеском во всем мире исследовательского интереса к малому бизнесу и внутриэкономической политикой, ориентированной на его поддержку. «Малое — это прекрасно» — такой лозунг определял многие аспекты политических программ Рейгана и Тетчер, христианских демократов в Германии и социалистов во Франции. Естественно, это не значит, что в той же Америке, странах Западной Европы или Японии крупные производства свертывались, влияние корпораций снижалось и т. п. Это значит, что волна отказа от идеи государственного регулирования экономики, поднявшаяся с 70-х годов, вынесла на поверхность фигуру самостоятельного производителя, предпринимателя, инноватора, который и явился во многом побудителем экономической активности.

Обратили внимание на эту проблематику и некоторые советские исследователи, анализируя, например, малый бизнес в США и очень неплохо, к слову, делая это. Но всплеск интереса к тому, что можно назвать аналогом малого бизнеса в странах Центральной и Восточной Европы возник тогда, когда проблемы стимуляции экономической активности были поставлены в повестку дня самой жизнью. Во второй половине 80-х годов руководство некоторых стран этого региона резко усилило деятельность по налаживанию эффективных структур мелкого производства в городе. Но

близился 1989 г. — время отвержения паллиативов, время замены «официального» общества с присущей ему административно-командной системой управления обществом «параллельным», со смешанной экономикой.

Исследователи 80-х годов отслеживали процессы становления структур этой экономики, которые проходили испытание на прочность в городском мелком производстве, но не уделяли все же им должного внимания. Поэтому хочется отметить то обстоятельство, что автор рецензируемой книги еще в первой половине 80-х годов интуитивно почувствовала значимость данной проблемы. Она определяет городское мелкое производство как «важнейшую часть народнохозяйственного комплекса, обеспечивающую, во-первых, функционирование городского хозяйства, выпуск необходимых прежде всего для горожан товаров и услуг, во-вторых, как взаимодополняющий элемент становления и функционирования крупного промышленного производства (данная его функция наглядно проявилась в период формирования новых социальных структур в странах региона, когда городское мелкое производство служило не только дополнением крупного промышленного производства, но и базой для его рынка, поставляя ему кадры, ресурсы, средства), наконец, в-третьих, — это питательная среда возникновения принципиально новых производств и улавливания новых потребностей в сфере услуг (значимость последней функции в полной мере выявляется при переходе народного хозяйства на интенсивные пути развития)» (с. 4). Для характеристики исторически сложившейся в странах региона модели автор вводит понятие «трехкомпонентная модель городского мелкого производства». Данная модель предполагала взаимодействие и взаимодополняемость в кустарно-ремесленном производстве и сфере услуг трех видов хозяйственной деятельности, базирующихся на государственной, кооперативной и частной (индивидуальной) формах собственности. Ее реализация создавала условия для здоровой конкуренции между этими формами. Причем с государственным компонентом соотносились чаще всего предприятия местной промышленности, централизованные службы быта и т. д.; с кооперативным — различные виды объединений ремесленников и торговцев, других

мелких предпринимателей в городе; с частным (индивидуальным) — экономическая активность мелких частных собственников как наиболее мобильных участников хозяйственной жизни.

Вряд ли стоит отмечать трудности поставленной в книге задачи. Без выхода на новый, более высокий, уровень автор не наметил бы и подхода к ее решению. Но опора на анализ трехкомпонентной модели городского мелкого производства позволила объяснить принципы эволюции и функционирования этого производства, или «малой» экономики, в странах Центральной и Восточной Европы, представить некоторые его общие тенденции.

В первой главе создание трехкомпонентной модели городского мелкого производства во второй половине 40-х годов обоснованно трактуется как смелый социальный эксперимент. Одни страны, лишившись статуса агрессора, другие — избавившись от оккупации, восстанавливали нарушенную войной экономику «под присмотром» государства-победителя — СССР. Но решали они проблемы с опорой в основном на свои образцы экономической политики. Рельефнее всего это проявилось в том, что возникшая во второй половине 40-х годов трехкомпонентная модель городского мелкого производства как бы заставляла «работать» на началах соревновательности все три компонента. И предприятия местной промышленности в рамках государственного компонента, считавшегося обязательным элементом замещения мелкотоварного производства в городе и внедрявшегося не без некоторой поспешности, и кооперативы в ремесленном производстве, и множество частных, видевших тогда новые перспективы в предлагаемом строе. Модель привилась на почве каждой из стран и плоды принесла почти сразу, разные, но обильные. Автору удалось показать, что эксперимент был смелым, а результат — благотворным.

Вторая глава — о смене ориентиров в политике правящих партий по отношению к городскому мелкому производству в 50-е годы. Сталинизм — это система. В политике она строится на примате повиновения руководящему центру и его вождю, в экономике — на связанной с этим приматом регламентации экономической активности. И какими бы благостными заверениями в гарантиях свободы мелкого собственника ни были наполнены конституции всех стран, его деятельность подвергалась жесткой регламентации и он насильственно перемещался в другие социальные

слои или уходил в тень. Трехкомпонентная модель превращалась в двухкомпонентную.

Однако, подчеркивается в третьей главе, ключевой тенденцией развития городского мелкого производства стало восстановление трехкомпонентной его модели в одних странах и резкое усиление ее потенциала в других. В 80-е же годы лозунгом дня становится не только призыв «не бояться частника!», но и рост упований на него в некоторых странах, в первую очередь в Венгрии и Польше.

В книге не только декларируется, но и реализуется междисциплинарный характер исследования. Автор подчеркивает, что некоторые реалии городского мелкого производства трудно объяснять без обращения к социологическим, политологическим, экономико-психологическим и иным методам исследования, и это обращение наличествует в посылках и выводах.

В книге, разумеется, есть и недостатки. Не прослежен с должной тщательностью механизм связи «большой» и «малой» экономик. Безусловно верное положение о том, что трехкомпонентная модель городского мелкого производства убедительно свидетельствует о необходимости развертывания смешанной экономики, как бы зависает в воздухе. Не учтена культурная специфика каждой из стран региона, а ведь «православная» Болгария — не столь благодатная почва для самостоятельного производителя, как «протестантская», по преимуществу, Восточная Германия. Но можно ли, осуществляя исследовательский «стратегический прорыв» на таком сложном участке, обойтись без некоторого рода «потерь»? Или наступит равномерно?

Высшей оценкой исследовательской работы является констатация того факта, что она открывает новое направление научного поиска. В число таких работ рецензируемая монография попадает. Автору удалось, образно говоря, перекинуть мост между серединой 40-х годов, когда формировалась трехкомпонентная модель городского мелкого производства, и концом 80-х годов, когда, пройдя тяжелые испытания на прочность, она послужила отправным пунктом формирования моделей смешанной экономики в каждой из восьми стран региона. Мост, по которому происходит и будет происходить движение поиска ответов на вопросы, поставленные не только вчера, но и встающие сегодня.

*Конаков Н. К.*



## XI КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗ ЦИКЛА «СЛАВЯНЕ И ИХ СОСЕДИ»

Конференция была проведена Институтом славяноведения и балканистики РАН (ИСБ) в Москве 3—5 марта 1992 г. Наряду с ИСБ организатором конференции выступил Дагестанский государственный университет (Махачкала). Это сотрудничество определило тему конференции — «Османская империя и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и Кавказа в XIV—XVIII вв.». Данная проблематика представляется особо важной в двух аспектах: историческое исследование многообразной роли Османской империи в жизни народов Европы и Кавказа позволяет исторически выявить общее и особенное в их развитии, в их реакции на общий для них фактор османской экспансии, а также понять исторические причины многих явлений современной политической жизни этих регионов. Собравшиеся на конференции специалисты из Москвы, Дагестана, Молдовы, Кабарды, с Украины, занимающиеся разными хронологическими периодами и территориями, смогли сопоставить результаты своих исследований и наметить основные направления работы в изменившихся политических условиях, дающих возможность свободного изучения историко-национальных проблем.

Открывший конференцию чл.-корр. РАН Г. Литаврин (Москва) подчеркнул значимость темы конференции в научном и политическом аспектах, в особенности для народов «совместной исторической участи», т. е. еще недавно входивших в СССР, а ранее составлявших объект османской экспансии.

М. С. Мейер (Москва) в докладе «Имперская идея как результат взаимоотношений Османского государства с балканскими странами в XIV—XVI вв.» выдвинул тезис о качественном изменении Османского государства во второй половине XV в., когда оно превратилось в империю, заимствовав се идею из идеологического арсенала Византии. Вопросам осман-

ской религиозной политики в отношении христиан в XV—XVI вв. были посвящены выступления Е. М. Ломизе (Москва) и В. С. Мамбетова (Махачкала).

Ряд докладов освещал взаимоотношения стран Центральной Европы с Высокой Портой. Ю. Е. Ивонин (Запорожье) показал, что протестантские княжества Германии в XVI в. использовали турецкую угрозу как один из внешнеполитических факторов, наряду с другими укреплявший позиции протестантизма. Г. П. Мельников (Москва) дал сводку сведений об участии сословий Чешского королевства в борьбе с Османской империей в середине XVI в. В докладах В. П. Шушарина (Москва) и К. К. Шовша (Ужгород) освещались некоторые аспекты венгерско-турецких войн и отношения антигабсбургской оппозиции к османскому вопросу. К анализу интересного источника — «Трактата о правах и обычаях турок» Георгия Венгерского — обратилась А. В. Рагобыльская (Москва).

Другая группа докладов была посвящена Юго-Восточной Европе. Отношения Дунайских княжеств с османами на рубеже XVI—XVII вв. рассмотрела Л. Е. Семенова (Москва). Г. В. Гонца (Кишинев) дал анализ специфики господарской власти в Молдавии в период установления османского сюзеренитета. Социально-экономические проблемы, связанные с эволюцией османского феодального владения на юге Молдавии, осветил И. Г. Киртоагэ (Кишинев). Особенности османской системы управления в болгарских землях проанализировал А. Н. Айбетов (Махачкала). И. Ф. Макарова (Москва), говоря об особенностях межэтнического взаимодействия болгар и турок в XV—XVI вв., отметила отсутствие межнациональной вражды в мирное время, процесс естественной исламизации болгар, изменение их этнокультурного облика. Н. М. Коробко (Махачкала) остановилась на психологиче-

ском аспекте фанатизма в религиозном противостоянии на Балканах в XVI в. Проблемы болгарской историографии периода османского господства рассматривались в докладах Д. И. Польшанниного (Иваново) и О. А. Дубовик (Москва).

Значительная часть докладов была связана с вопросами внешней политики России. Бурную дискуссию вызвало выступление С. Ф. Фаизова (Москва), в котором автор, рассматривая терминологический, юридический и функциональный аспекты эволюции дани-откупа во взаимоотношениях России и Крыма в XV—XVII вв., стремился доказать вассальную зависимость России от Крымского ханства. В прениях справедливо отмечалось, что средневековая практика внешнеполитических отношений не дает оснований считать «поминки» символом даннических отношений. Освещению роли крымско-турецкой дипломатии в жизни Восточной Европы в XV—XVII вв. в историографии посвятил доклад И. Б. Греков (Москва). Малоизвестные факты содержал доклад Б. Н. Флори (Москва) «Россия и стамбульские греки в годы борьбы за Азов (1637—1642)». С. Ф. Орешкова (Москва) проинформировала об имеющихся в отечественных архивах османских источниках, прежде всего о Прутском походе Петра I. В. И. Шеремет (Москва) осветил место «Греческого проекта» А. А. Безбородко в контексте восточной политики России конца XVIII в. Новые сведения об очаковском кризисе 1790 г. привела Л. В. Зеленина-Шеремет (Москва). О забытой странице русской историографии — сочинении А. Чемерзина «Турция, ее могущество и

распадение», опубликованном в 1878 г., напомнил С. И. Муртузалиев (Махачкала).

Русско-кавказские отношения в контексте османской экспансии были рассмотрены в ряде докладов. А. И. Рогов (Москва) раскрыл русско-грузинские культурные связи в XVI—XVII вв. В. А. Артамонов (Москва) остановился на специфическом положении Крымского ханства и Черкесии между Османской империей и Россией. Русско-дагестанский конфликт 1604 г. (поход И. И. Бутурлина) на основе новых архивных данных осветил А. С. Шмелев (Махачкала). Сложный комплекс проблем русско-османских отношений и место в нем народов Северного Кавказа в период вхождения Дагестана в состав России (1722—1735) был затронут в докладе Н. А. Сотавова (Махачкала). Проблему Северного Кавказа в русско-иранских и русско-турецких отношениях в период от Гянджинского трактата до Белградского договора (1735—1739) рассмотрел Х. Н. Сотавов (Махачкала). В. Н. Сокуров (Нальчик) в докладе «Черкесы на русской и турецкой службе в XVI—XVIII вв.» остановился на этимологии этнонима «черкес», на истории кабардинцев как части Черкесии, на положении рода князей Черкасских при русском дворе, на более тесных, чем с Россией, связях Черкесии с Османской империей.

Конференция в целом продемонстрировала высокий уровень исследований и пользу обмена мнениями между специалистами, с разных сторон затрагивающими такую проблему, как взаимоотношения Османской империи и окружающих ее народов Европы и Азии.

*Мельников Г. П.*



## АКАДЕМИК ИОЗЕФ МАЦЕК 8 IV 1922 — 10 XII 1991

В Праге, не дожив нескольких месяцев до своего семидесятилетия, скоропостижно скончался академик Иозеф Мацек<sup>1</sup>. Чехословацкая и европейская медиевистика лишились одного из крупнейших своих представителей.

И. Мацек окончил философский факультет Карлова университета в Праге. Уже в студенческие годы он проявил себя одаренным исследователем. Его ранняя работа о документации канцелярии Владислава Ягеллона за 1471—1490 гг. и поныне принадлежит к числу важнейших по затронутому в ней вопросу. В 1952 г. Мацек издал книгу «Гуситское революционное движение», а в 1952—1955 гг. двухтомную монографию «Табор в гуситском революционном движении». Эти труды стали в свое время основополагающими прежде всего для советской гуситологии, в них была проведена марксистская концепция истории гуситского движения. Наряду с достоинствами, отличающими их от предшествующего, как тогда говорили, буржуазного освящения темы, названные книги имели и определенные недостатки, о которых, однако, стали открыто говорить только в 70-е годы. Ранее же работы Мацека о гусизме являлись для советских популярных изданий сводом, из которого заимствовался прежде всего фактический материал; но исследователи гуситского движения вдохновлялись также и методом, и системой доказательств Мацека. Обе книги были переведены на русский язык [1; 2] и на долгие годы стали пособием для студентов высших учебных заведений всего бывшего Советского Союза.

Правда, в советской историографии в адрес Мацека раздавались и отдельные критические замечания, но эта критика не касалась ни идеологической схемы, ни политической тенденции, свойственных трудам И. Мацека 50-х годов; напротив, советские исследователи были в некоторых вопросах еще более правомерными марксистами, чем их чехословацкий коллега.

Кроме названных работ, И. Мацек в 50—60-е годы написал еще ряд книг о гуситском движении: «Гуситы на Балтике и в Великой Польше» (1952), «Прокоп Великий» (1953), «Ян Гус» (1961), «Иржи из Подебрад» (1967). Некоторые из них переведены на важнейшие европейские языки. Впоследствии ученый составил из своих исследований по гуситскому движению, уточнив и дополнив ряд положений, книгу «Ян Гус и гуситские традиции», изданную на французском языке в Париже в 1973 г.

И. Мацек изучал не только гуситское движение — это был ученый с широким диапазоном научных интересов. Великолепный знаток архивных материалов, он на основе еще неизвестных, им самим обнаруженных документов написал исследование о представителе радикального направления крестьянской войны в Германии XVI в. Михеле Гайсмайере [3], переведенное с чешского на немецкий язык и изданное в Берлине [4].

С начала 60-х годов И. Мацек стал систематически заниматься вопросами итальянского Возрождения. В 1965 г. вышло его обширное, посвященное этому, исследование [5]. Книга, высоко оцененная научной общественностью Европы, была переведена на итальянский язык и трижды — в 1972, 1974 и 1980 гг. — издана в Риме. Известный отечественный специалист в области итальянского Возрождения В. И. Рутенбург готовил издание этой книги на русском языке, однако в связи с чехословацкими событиями 1968 г., после которых И. Мацек стал преследоваться властями, перевод опубликован не был. На итальянские темы И. Мацек написал и еще несколько книг, например, «Кола ди Риенцо» (1963).

До 1968 г. И. Мацек являлся одним из представителей официальной историографии, директором Института истории ЧАИ. Он представлял историческую науку своей страны практически на всех международных форумах и во всех институтах, и это представительство было отнюдь не формальным. Неоднократно Мацек бывал и в Москве, выступал с докладами и сообщениями перед советскими историками. В общем, во главе чехословацкой исторической науки стоял ученый европейского масштаба, весьма эрудированный, владевший несколькими иностранными языками (в том числе и русским). Кроме того, он обладал даром великолепно излагать свои мысли, что видно как из его печатной научной продукции, так и из устных его выступлений, на которых автору этих строк посчастливилось несколько раз присутствовать.

<sup>1</sup> Биографические сведения о И. Мацек были сообщены мне чехословацким историком Я. Панеком, за что выражаю ему сердечную благодарность.

События 1968 г. в Чехословакии оказались для ученого роковыми. Он решительно встал на сторону тех, кто не согласился с введением советских и других войск в Чехословакию в августе 1968 г. Именно Мацек составил текст протеста чехословацкого парламента против введения войск. Под его руководством и при его участии Институт истории издал документальную публикацию «Семь пражских дней», ставшую известной как «Черная книга». После этого ученый был уволен с поста директора института, а сам институт ликвидирован. Один из крупнейших ученых Европы получил незначительную должность в системе ЧАН без права публикации своих трудов. Однако и в этих обстоятельствах И. Мацек использовал свой исследовательский талант и стал одним из основателей новой дисциплины — исторической семантики. Не имея возможности печататься дома, ученый получал тем не менее все большее признание за границей, в странах Запада. Его книги выходили не только в Италии, но также во Франции и Австрии.

1989 год принес ученому облегчение его участи. Он получил возможность читать лекции в университетах Австрии, Великобритании, Германии, Польши, США и Франции (еще в 1985 г. ему была присуждена премия Французской Академии наук и искусств). В последний год жизни И. Мацек являлся председателем Национального комитета историков ЧСФР и в этом качестве организовал чехословацкую делегацию на XVII Международный конгресс историков в Мадриде, в ходе которого активно работал и сам.

Ученый подготовил к печати многотомную рукопись монографии, посвященной «Ягеллонскому времени» в Чешских землях (1471—1526), но не успел ее издать. Надо полагать, что историки ЧСФР позаботятся о публикации последнего труда И. Мацека, прожившего сложную, полную драматизма жизнь.

*Лантвева Л. П.*

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Мацек И.* Гуситское революционное движение. М., 1954.
2. *Мацек И.* Табор в гуситском революционном движении. Т. 1. М., 1956.
3. *Macek J.* Tyrolská selská válka a Michal Gaismair. Praha, 1960.
4. *Macek J.* Der Tiroler Bauernkrieg und Michael Gaismair. Berlin, 1964.
5. *Macek J.* Italská renesance. Praha, 1965.

#### АКАДЕМИК ПЕТР ДИНЕКОВ (1910—1992)

22 февраля 1992 г. прервался творческий и жизненный путь болгарского академика П. Динекова. Имя этого замечательного ученого будет вписано в анналы мировой славистики. Его перу принадлежат более тысячи научных работ, посвященных истории и теории болгарской литературы от древнейших времен до современности (см. [1]).

Вхождение П. Динекова в большую науку было стремительным и бесповоротным. После завершения филологического факультета Софийского университета им. Климента Охридского он в 31 год становится его доцентом, а в 35 лет получает профессорское звание. Столь быстрая научная карьера объяснялась не суровыми перипетиями военных 40-х годов и неизбежными кадровыми перемещениями, а реальным вкладом молодого ученого в науку. К тому времени он уже опубликовал такие труды, как «София през XIX в. до Освобождението на България» (1932), «Софийски книжовници през XVI в. Ч. I. Поп Пейо» (1939), «Кузман Шипкарев — събирач на народни умотворения» (1940), «Първи възрожденици» (1942). Они не утратили своего значения и поныне. Занятия фундаментальной наукой П. Динекос сочетал с оперативной критикой, публикуя литературоведческие статьи в журналах и газетах: «Литературен глас», «Златорог», «Българска мисъл», «Изкуство» и др.

В 50—60-е годы творческая активность П. Динекова приобретает еще большие масштабы. Им подготовлен систематический курс лекций по истории древней болгарской литературы («Стара българска литература». Ч. I—II. 1950—1953), выпущены монографии «П. Р. Славейков. Творчески път» (1956), «Писатели и творби» (1958) и др. Важным достижением того времени следует считать и выпуск хрестоматии древнеболгарской литературы (1961, совместно с К. Куевым и Д. Петкановой) и антологии «Старобългарски страници» (1966), по сути дела впервые познакомившими широкий круг болгаристов с лучшими образцами древнеболгарского литературного наследия. Особое внимание в тот период П. Динекос уделяет изучению болгарского фольклора — одной из слабо разработанных областей филологии. Его основополагающие работы способствовали становлению болгарской фольклористики и созданию Института фольклористики БАН, бессменным директором которого он оставался в продолжении многих лет. Одновременно П. Динекос возглавлял кафедру истории болгарской литературы Софийского

университета и сектор древнеболгарской литературы и литературы эпохи Возрождения в Институте литературы БАН.

П. Динеков проявил себя блестящим педагогом, взрастившим целое поколение талантливых исследователей в упомянутых областях науки. Отличительной чертой его педагогической деятельности была редкая деликатность, способность терпимо относиться к чужому мнению даже в том случае, если оно кардинально расходилось с его собственной точкой зрения, умение ненавязчиво побуждать многочисленных воспитанников к поиску истины. Можно отметить и другое качество академика П. Динекова — этическую и эстетическую изысканность. Он был интеллигентом по рождению, а не благодаря приобретенному внешнему лоску или усвоенным знаниям.

В 70-е — начале 90-х годов ученый не снизил своей творческой активности. Его живое перо, казалось, не знало усталости, а сам он чувствовал себя по-юношески бодрым и легко восприимчивым к свежим идеям. Появляются новые работы автора («При извори на българската култура», 1977; «Похвала на старата българска литература», 1979; «Проблеми на старата българска литература», 1989 и др.), в которых он разрабатывает такие важные методологические вопросы, как проблемы оригинальности, преемственности и периодизации болгарской литературы эпохи средневековья и Возрождения, ее общеевропейского значения и связи с литературами других народов. Важной вехой в организаторской работе П. Динекова явилось осуществление проекта по созданию трехтомной Кирилло-мефодиевой энциклопедии (первый ее том увидел свет в 1985 г.) и образование возглавляемого им Кирилло-мефодиевского научного центра при Президиуме БАН. Этот центр положил начало серии томов исследований, посвященных солунским братьям и их ученикам (Кирилло-методиевски студии. Т. I—VII, 1984—1990).

В кратком некрологе невозможно перечислить все главные работы академика П. Динекова, раскрыть его заслуги по интеграции болгаристики в мировую славистическую науку, рассказать о лекциях, читанных им во многих европейских и неевропейских странах. В заключение хотелось бы сказать несколько неофициальных слов о П. Динекове как о человеке и гражданине. Он всегда оставался беспартийным и не поддавался искушению впасть в партийно-политический пафос. Неизменными нравственными ориентирами служили ему в жизни человеческая и гражданская совесть. Иногда это требует больше мужества и стойкости, чем декларируемая политическая бескомпромиссность в угоду власти преобладающих. Петр Динеков был искренним другом России. Тот факт, что в атмосфере нездоровых политических страстей и поднявшей голову русофобии он возглавил незадолго до смерти болгарское Общество друзей России, говорит сам за себя. Кончина Петра Динекова — большая утрата для славистики, учеников, последователей и близких этого замечательного ученого.

*Калиганов И. И.*



# CONTENTS

## ARTICLES

<i>Toporov V. N.</i> About «Poor Liza» by N. M. Karamzin. To the 200-th anniversary from the publishing date . . . . .	3
<i>Mananchikova N. P.</i> Merchants capital and commodity production in Dubrovnik in the XIV c. . . . .	36
<i>Korovitsyna N. V.</i> Reindustrialization as a passage of Czech society to «socialism» . . . . .	48
<i>Anikeev A. S.</i> The conflict between the USSR and Jugoslavia and the modification of the Jugoslavian foreign policy . . . . .	60

## COMMUNICATION

<i>Segal D.</i> Slavica Hierosolymitana, or thoughts about Slavic Studies in Israel . . . . .	80
<i>Reshetnikova O. N. F. F.</i> Raskolnikov by the eyes of Bulgarian police . . . . .	87

## MATERIALS TO THE MANUAL OF CHURCH-SLAVIC

<i>Sedakova O. A.</i> Church-Slavic-Russian paronyms . . . . .	95
--	----

## REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

<i>Bibikov M. V., Petruhin V. J.</i> Свод древнейших письменных известий о славянах . . . . .	112
<i>Popkov B. S. Э. В. Намавичюс. Лелепель</i> . . . . .	119
<i>Konakov N. K. Э. Г. Задорожник. Городское мелкое производство в Центральной и Восточной Европе</i> . . . . .	121

## SCIENTIFIC LIFE

<i>Melnikov G. P.</i> The XI-th conference «Slavs and their neighbours» . . . . .	123
---	-----

. . .

<i>Lapteva L. P.</i> Academician Jozef Macek (1922—1991) . . . . .	125
<i>Kaliganov I. I.</i> Academician Peter Dinekov (1910—1992) . . . . .	126

Технический редактор *А. В. Рудницкая*

---

Сдано в набор 11.06.92 Подписано к печати 11.08.92 Формат бумаги 70×100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
 Офсетная печать Усл. печ. 10,4 л. Усл.-кр.-отт. 10,6 Уч.-изд. 12,8 л. Бум. л. 4,0  
 Тираж 989 экз. Зак. 2964 Цена 1 р. 50 к.

---

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, д. 32а  
 Телефоны 938-01-20, 938-08-09  
 2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

## **ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ РАН**

**предлагает читателям:**

**ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ.** Сб. статей. 8 печ. л. Отв. редактор Л. Н. Смирнов. М., 1990. Цена 1 р. 30 к.

Книга посвящена проблемам теории и методологии сопоставительного изучения грамматики славянских языков, типологии грамматических и лексико-грамматических категорий.

**ЛЮДОВИТ ШТУР И ЕГО ВРЕМЯ.** Сб. статей. 6,6 печ. л. Отв. редактор Л. Н. Смирнов. М., 1992. Цена 5 руб.

В сборнике освещаются различные стороны общественно-политической, научной и литературной деятельности Л. Штура, выдающегося лидера словацкого национального движения середины XIX в.

Книги можно приобрести по адресу: *117334, МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 32а. ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ РАН. БОЛЬШАКОВА К. П.*

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Синодальная библиотека Московского Патриархата выпустила в свет и предлагает к продаже следующие издания:

— А ли п и й (Г а м а н о в и ч), иером. ГРАММАТИКА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА.

— Свт. Кирилл Иерусалимский. ПОУЧЕНИЯ ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ И ТАЙНОВОДСТВЕННЫЕ.

— СОЛОВЕЦКИЙ ПАТЕРИК.

— А к а ф и с т свт. ИГНАТИЮ БРЯНЧАНИНОВУ.

— Св. прав. Иоанн Кронштадтский. МЫСЛИ ХРИСТИАНИНА О ПОКАЯНИИ И СВ. ПРИЧАЩЕНИИ.

Желающих купить эти книги просим обращаться в Синодальную библиотеку по адресу: 113191, Москва, Даниловский вал, 22, тел. 952-33-43.

*Приобретая эти издания, Вы поможете не только Синодальной библиотеке, но и возрождению бывшего Андреевского монастыря, в стенах которого в XVII веке размещалось училище «для учения свободных мудростей», давшее начало Славяно-Греко-Латинской академии.*

*В Воскресенском соборе монастыря совершаются богослужения, в ближайшее время туда должна переехать и Синодальная библиотека. Надеемся на Вашу помощь и участие.*

Счет Синодальной библиотеки № 700906 в Центральном отделении Мосбизнесбанка В-5 МФО 201229.